ОГОНЁК

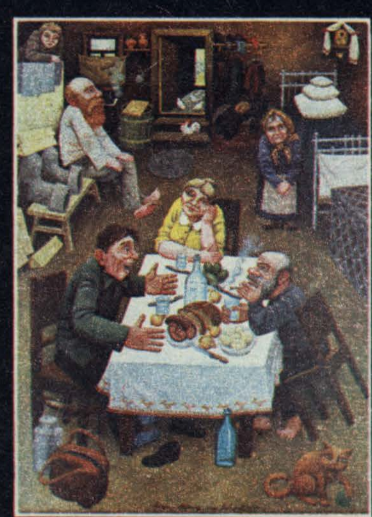
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА», МОСКВА
№ 40 ОКТЯБРЬ 1988



ПОЛЬША: ЦВЕТА ВРЕМЕНИ



ПЕШКОМ ПО ВОДНОМУ ПУТИ



ВЗГЛЯД ХУДОЖНИКА

ТИРАЖИ И МИРАЖИ

ДЕРЖИТЕ ШАГ!

136

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!





ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

Основан 1 апреля 1923 года

№ 40 (3193)

1 — 8 ОКТЯБРЯ

НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ:

Первый секретарь Астраханского обкома КПСС Иван Николаевич Дьяков. (См. в номере материал «Вкус борьбы».)

Фото Александра НАГРАЛЬЯНА

Оформление Н. П. КАЛУГИНА при участии Г. Н. СИДОРОВОЙ

ПОДПИСКА НА «ОГОНЕК» ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ ДО ПЕРВОГО ЧИСЛА ПРЕДПОДПИСНОГО МЕСЯЦА
Цена подписки на квартал — 5 руб. 19 коп.

Телефоны редакции: Секретариат — 212-23-27; Отделы: Публицистики — 212-21-88; Международный — 212-30-03; Литературы — 212-63-69; Искусства — 212-15-59; Морали и писем — 212-22-69; Фото — 212-20-19; Литературных приложений — 212-22-13, 212-23-07.

Телефакс (международный) (095) 943-00-70
Телетайп (внутрисоюзный) 112349 «Огонек»

Рукописи объемом более двух авторских листов не рассматриваются.

Сдано в набор 12.09.88. Подписано к печати 27.09.88. А 10410. Формат 70 × 108⅛. Глубокая печать. Усл. печ. л. 7,0. Уч.-изд. л. 11,55. Усл. кр.-отт. 16,80. Тираж 1 800 000 экз. Заказ № 2993.

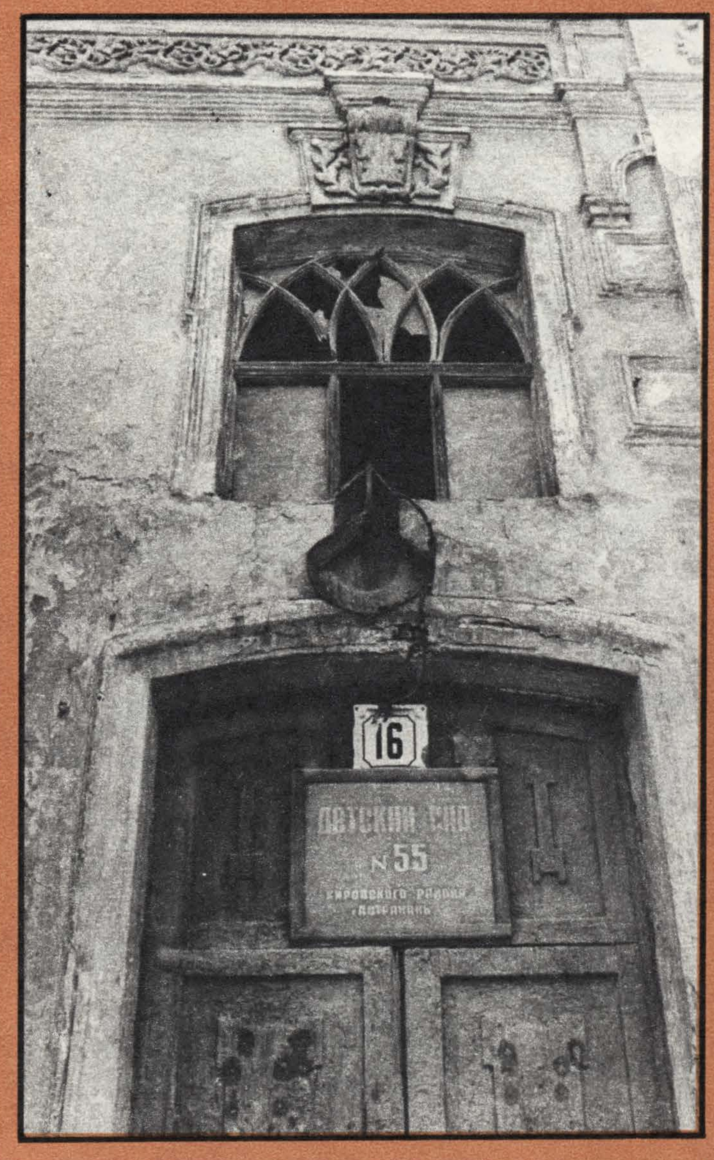
Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.

Адрес редакции: 101456, ГСП, Москва, Бумажный проезд, 14.

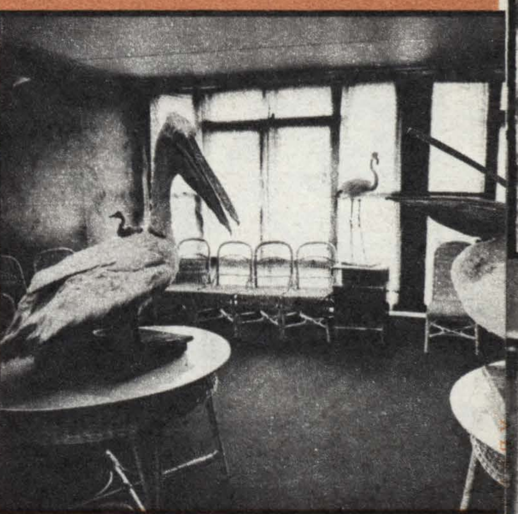
ВКУС БО…

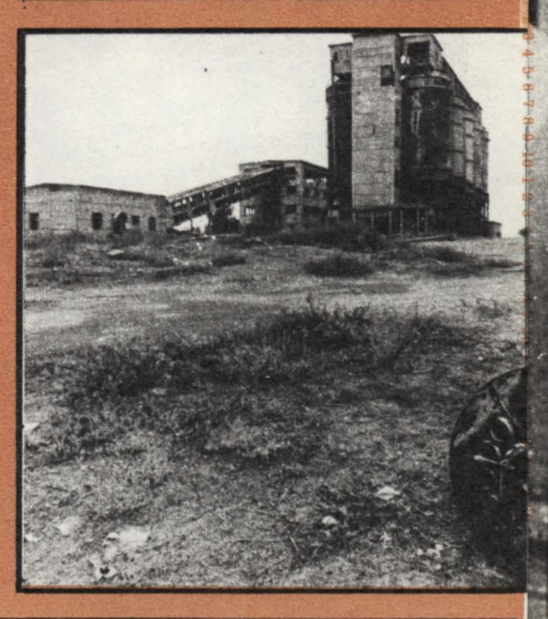
ПОДНИМАЯСЬ С ОДНОГО ИЗ МЕСТНЫХ АЭРОДРОМОВ, ВЕРТОЛЕТЫ РЕЗКО БРАЛИ КУРС НА ВОСТОК. ОНИ ЛЕТЕЛИ ИЗ АСТРАХАНИ В ТУ, СКРЫТУЮ ОТ ПОСТОРОННИХ ГЛАЗ ЧАСТЬ ДЕЛЬТЫ ВОЛГИ, ГДЕ В ТИХИХ ПРОТОКАХ НАГУЛИВАЮТ ЖИР РАЗНЫЕ РЫБЫ ЦЕННЫХ ПОРОД, А НА БЕЗЛЮДНЫХ, ЗАРОСШИХ КАМЫШОМ, БЕРЕГАХ ГНЕЗДЯТСЯ НЕПУГАНЫЕ ДИКОВИННЫЕ ПТИЦЫ. У ПАССАЖИРОВ ВЕРТОЛЕТОВ БЫЛО ПРЕКРАСНОЕ НАСТРОЕНИЕ — ЕЩЕ БЫ: ОНИ ПРЕДВКУШАЛИ МАССУ УДОВОЛЬСТВИЙ, КОТОРЫЕ МОЖЕТ ПОДАРИТЬ ЭТОТ РЕДКИЙ ПО КРАСОТЕ ЗАПОВЕДНЫЙ КРАЙ. ТО, ЧТО ПРОИСХОДИЛО ВНИЗУ, ПОД ВИНТОМ ВЕРТОЛЕТА, ОНИ НЕ ВИДЕЛИ... ТЕ ПРОБЛЕМЫ, ЧТО ИЗ ГОДА В ГОД ТЕРЗАЛИ АСТРАХАНСКУЮ ОБЛАСТЬ, ИХ, ОЧЕВИДНО, И ВОВСЕ НЕ ВОЛНОВАЛИ.









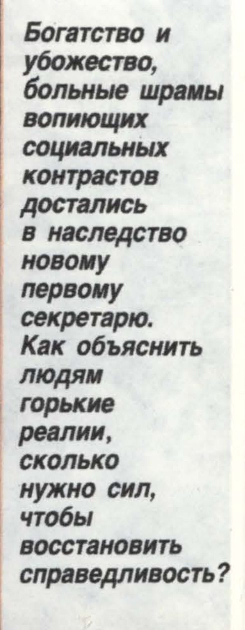


Александр БОЛОТИН, Александр НАГРАЛЬЯН (фото), специальные корреспонденты «Огонька»



Иначе чем объяснить такой загадочный факт? В течение двадцати лет каждую осень Брежнев приезжал сюда на охоту. То, что первое лицо страны находится в здешних местах, кому-то, может быть, и было известно,— во всяком случае, районы по разнарядке получали задание готовить подарки дорогому гостю. Но это были исключительно светские вояжи. Ни разу за все это время Брежнев не выступил с трибуны собраний партийно-хозяйственного актива обла-

РЬБЫ



Богатство и убожество, больные шрамы вопиющих социальных контрастов достались в наследство новому первому секретарю. Как объяснить людям горькие реалии, сколько нужно сил, чтобы восстановить справедливость?





сти или города, ни разу не беседовал с простыми астраханцами.

А повод для разговоров, безусловно, был. Не первый год Астраханская область катилась вниз, как катятся волжские струи к Каспийскому морю. На глазах разваливалась экономика, нелепые перекосы уродовали сельское хозяйство. В результате экстенсивного развития производственного потенциала на старой технической основе с 1970 года более чем на пятьдесят процентов снизился выпуск товарной продукции, коэффициент сменности оборудования оказался самым низким в областях Поволжья, каждое третье предприятие не выполняет план по производительности труда.

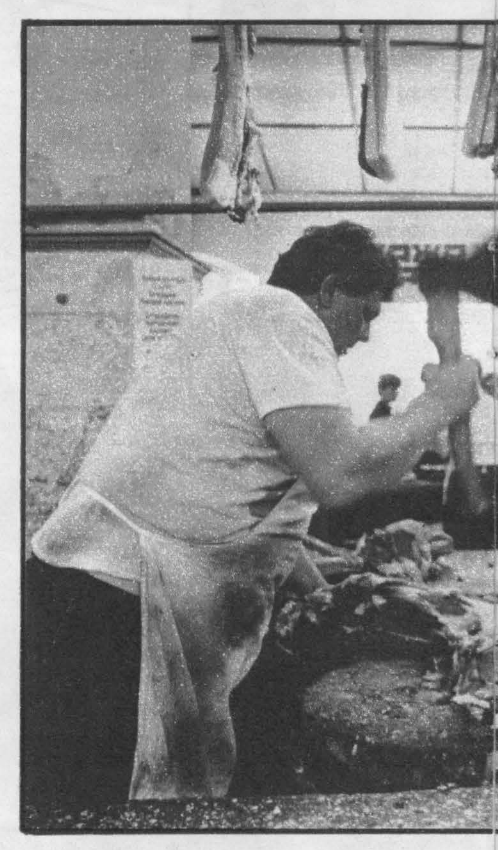
Когда-то окрестили эти места «огородным цехом страны» — область с населением в один миллион человек ежегодно выращивает около 900 тысяч тонн овощей, арбузов и фруктов. Тем не менее астраханцы не могут обеспечить себя капустой, морковью, огурцами, луком и свеклой. Львиная доля земельных угодий занята под бахчевые, которые почти полностью вывозятся за пределы области. Объем сельскохозяйственного производства в 1987 году снизился на 6 процентов, не выполнены задания по закупке мяса и шерсти, уровень рентабельности едва превысил 4 процента, по надоям молока астраханцы — одни из последних в России.

Если бы в свое время Леонид Ильич и его спутники хотя бы раз спустились на грешную в буквальном смысле землю и неторопливо прошлись по улицам Астрахани, то они непременно увидели бы лачуги и трущобы в центре города, покосившиеся от старости дома с удобствами во дворе, утопающие в грязи переулки и тупички. В таких условиях сейчас проживают более 40 тысяч человек — ветхий, подлежащий сносу жилой фонд составляет почти полтора миллиона квадратных метров. До сих пор в областном центре нет ливневой канализации. 160 километров водопроводных и других коммуникаций находятся в аварийном состоянии.

Ну, а о чем, резонно спросить, думали все эти годы местные партийные органы — областной и городской комитеты, райкомы? Согласимся: от Москвы до Астрахани далеко, ну а здесь-то все свое, все под боком... И черной «Волги» с радиотелефоном не надо — пешком можно прогуляться к кварталам, где с неумолимой жестокостью обнажились сегодня последствия бездумности и равнодушия, наплевательски-пренебрежительного отношения к людям.

До совсем недавнего времени на астраханском небосклоне было безоблачно, как бывает здесь в середине лета, когда нещадно палит южное солнце. В обкоме привычно шуршали бумагами, спускали директивы в нижестоящие партийные звенья, обкомовские комиссии выезжали на места, проводились различного уровня и масштаба заседания, на которых, как принято, отмечались «отдельные недостатки...». Вряд ли кто серьезно задумывался, а есть ли реальный толк от этих метко прозванных в народе «говорилен», каков их коэффициент полезного действия, в чем состоит, выражаясь понынешнему, конечный результат? Жизнь катилась по хорошо накатанной, спокойной колее, будто бы в рамках негласного сговора ничего коренным образом не менять.

Но вот наконец-то грянул гром! В прошлом году ЦК КПСС принял постановление «О серьезных недостатках в перестройке работы Астраханского обкома партии». В этом документе обоснованные претензии предъявлялись не только членам бюро, но и конкретному человеку — первому секретарю Л. А. Бородину, в течение более двадцати лет возглавлявшему областную партийную организацию. Спустя год, нынешней весной, «Правда» в статье «Вянет лотос» подвергла критике за командно-нажимной стиль в работе секретарей обкома В. А. Аракеляна и К. П. Воронову, констатировалось, что реальных сдвигов в лучшую сторону в области по-прежнему нет, перестройка здесь явно пробуксовывает... Атмосфера накалялась. К тому же свое недо-



верие Л. А. Бородину выразили некоторые первичные партийные организации Астрахани. И произошло то, чего следовало ожидать. 31 мая пленум областного комитета партии освободил Л. А. Бородина от его обязанностей. Первым секретарем Астраханского обкома КПСС был избран Иван Николаевич Дьяков, ранее работавший вторым секретарем Краснодарского крайкома партии, а в последнее время инспектором ЦК КПСС.

НАЧАЛО

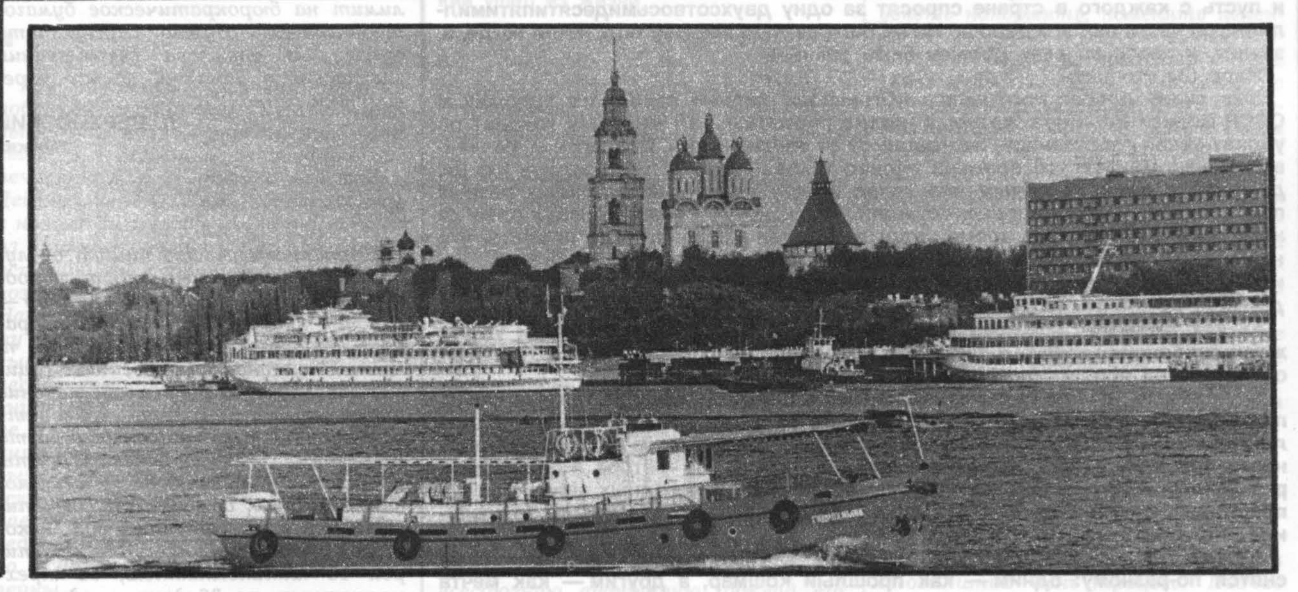
Я ехал в Астрахань, чтобы своими глазами увидеть человека, которому выпала судьба подымать неподъемное... Я понимал, что набор красивых восхвалительных эпитетов из привычной журналистской обоймы вряд ли потребуется, потому что у этого человека на его сегодняшнем поприще пока нет ни заслуг, ни завоеваний, есть только, как было сказано, неподъемная ноша да груз ответственности за начатое дело. Конечно, было интересно узнать, какие первые шаги намерен сделать первый, с какими мыслями берется он за штурвал корабля, который уже давно плохо держится на плаву, какой выберет курс, чтобы преодолеть не только открытые грозные штормы сразу навалившихся проблем и забот, но и невидимые глазу мели и рифы скрытых противодействий, ибо наивно было бы полагать, что стихия задубелой вседозволенности запросто без боя сдаст позиции и не захочет попробовать на зуб, а крепок ли сам капитан.

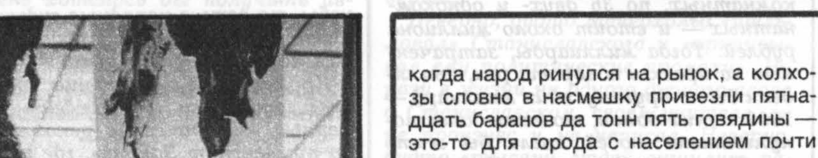
Первый шаг, коли уж мне судить, Дьяков сделал простой, но в то же время в какой-то степени символичный. Однажды утром, придя на работу, работники аппарата не увидели привычного милицейского поста у входа в здание обкома партии. Все действительно просто и ясно — ни затрат, ни усилий, кое-кто даже позволил себе ухмыльнуться: вот, мол, она, показная демократия, теперь все, кому не лень, будут гулять по кабинетам обкома. Мне же показалось, что этим шагом Иван Николаевич ответил на заданный ему вопрос: «В чем он видит главную ошибку своего предшественника и какими путями и способами думает ее исправлять?»

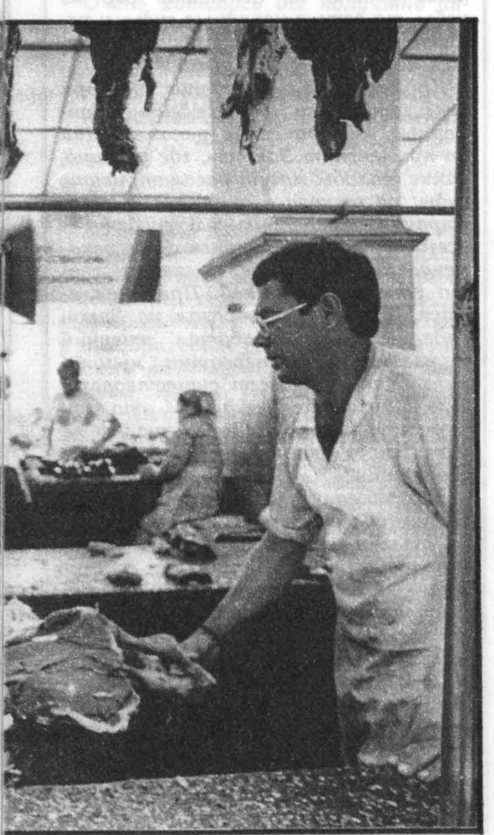
— Преодолеть отчуждение от людей,— решительно говорил собеседник,— разрушить невидимую, но прочную стену, воздвигнутую между обкомом и массами. Увы, к сожалению, болезнь эта не региональная... Будем откровенны: с годами мы оторвались от низов. Многие работники партийного аппарата забыли простые истины: в какой среде выросла партия, откуда получила свой авторитет, для кого создана и кому служит? Сопереживать людским нуждам — это не подвиг, это норма партийности, ниже которой можно спросить руководителя: «А как ты оказался в рядах КПСС?»

Теперь уже в прошедшем времени рассказывают о несколько комичной ситуации, которую, сообразуясь с обстановкой, создал Дьяков, чтобы у некоторых областных начальников раз и навсегда отбить охоту легко давать людям обещания и так же легко их не выполнять. Обнаружив в первые дни своего пребывания в Астрахани пустые прилавки на центральном рынке, он спросил у двух зампредов облисполкома, один из которых возглавляет агропром, а нельзя ли в выходные дни организовать продажу мяса, закупленного у населения колхозами и совхозами. Те с привычной интонацией «буде исполнено-с» ответили утвердительно. Мало того, что пообещали первому секретарю, еще и по местному телевидению (конечно, по настоянию Дьякова) лично сделали нововведению широкую рекламу.

— У меня рубашка взмокла от пота, так было стыдно,— вспоминает Иван Николаевич ту злополучную субботу,







когда народ ринулся на рынок, а колхозы словно в насмешку привезли пятнадцать баранов да тонн пять говядины — это-то для города с населением почти в полмиллиона человек.

На следующий день зампреды давали объяснения, клятвенно заверяли, что все наладится, но Дьяков разговаривал с ними уже по-другому: «Не мне это объясняйте, народу. Завтра по телевидению снова выступите и скажете: мол, так и так, люди астраханские, обманули мы вас. Простите, если можете, а в следующую субботу приходите, не подведем». Так все и было... Хотя председатель облагропрома умолял: «В два раза больше мяса привезем, чем обещали, только от телевизора избавьте». Но Дьяков был непреклонен: «Надо учиться смотреть в глаза тем, кто доверил вам портфель».

Недавно ходил я между прилавками, своими глазами видел, что толчея здесь несусветная — здоровый признак любого рынка, что парной говядины по три с полтиной за килограмм предостаточно, а люди, с которыми довелось беседовать, в один голос утверждали, что в Астрахани такого никогда еще не было. Появились на прилавках и другие товары, о которых здесь и слыхом не слыхивали,— повезли на рынок заводы свои неликвиды в виде строительных материалов, начали продавать комбикорма по госцене — благо условия позволяют многим держать в условиях города домашнюю птицу. Политика и экономика нынче словно родные сестры в обнимку ходят, ни дня одна без другой прожить не может... Улучшилось настроение у людей. А может быть, и вера в перестройку появилась?

«Рифы» и «мели», о которых говорилось, что скрыты они от глаз, выступают наружу, когда дело касается восстановления социальной справедливости, в таких случаях страдает, как правило, своя — не дядина мозоль. Тот, кто по поводу милицейских постов лишь хмыкал, уже не скрывал раздражения, поскольку на этот раз речь шла об ущемлении личных интересов. Шутка ли сказать... По совету Дьякова в городских партийных, советских и хозяйственных организациях Астрахани намечено изъять и передать очередникам — инвалидам и участникам Великой Отечественной войны почти две тысячи телефонных номеров, причем операция по их изъятию началась с аппарата обкома КПСС и облисполкома. Да и владельцы персональных машин едут сейчас на дачи дружным коллективом, на выделенных автобусах. Правило есть правило: служебный автомобиль — только для службы.

...Сам первый секретарь обкома любит ходить пешком, к тому же видели его и в рабочем поезде, и в рейсовом автобусе... Нередко останавливается, разговаривает с людьми. А иногда пройдет с отрешенным взглядом, со знакомым не поздоровается... О чем он думает?

ПРОЗРЕНИЕ

Край здесь занятный... «Недаром и до сих пор Волга каждую ночь надевает разбойничий платок буйной разинской песни и, голубая красавица, смотрит, как заря зажигает кумачовой ранью спичкой сумрак лесов»,— писал в свое время великий бунтарь-реформатор, поэт Велимир Хлебников, уроженец здешних мест. Вот, например, Володарский район — «Гранд-Венеция» раскинулся на 383 островах, связанных между собой паромными переправами. Да и нрав у астраханца непростой. Живут на этих островах люди вольные, независимые, фартовые, рыбку ловят, в удачу верят. Зовутся меж собой уважительно: тумакцы, мултановцы, цветновцы, тишкачи...— все по названиям деревень. А рыба какая только не водится! Считай, все породы — сазан, судак, сом, щука, линь, лещ, вобла, жерех...

Но и в передовом по добыче рыбы Володарском районе за годы накопилось немало проблем. Рыбы много, а современных машин для ее переработки нет. Рыбокомбинаты задыхаются — на ручном труде далеко не уедешь... Задыхаются и люди от недоброго десятка запретительных указов. Иной колхоз, отчаявшись сдать улов в госфонд, не знает, что с ним делать: хочешь — зарывай в землю, хочешь — сжигай, ни одной рыбешки продать у него права нет... Крайне низки закупочные цены. Этим во многом объясняется отсутствие прибылей, фондов на развитие социальной инфраструктуры. «Нет денег на строительство,— сетует секретарь Володарского райкома партии Юлия Викторовна Фролова,— не хватает самого основного — детских садов, школ, ребятишки в три смены учатся».

Недавно Дьяков привез в районный центр всех членов облисполкома. Здесь на месте рассматривали генеральный план развития Володарского района. Каждому первый секретарь дал высказаться, каждого внимательно выслушал. Но план решительно отверг: «Полумерами здесь не обойдешься, товарищ! Предстоит коренная ломка, будем возрождать район».

Немало надо проехать километров по воде, чтобы увидеть еще одну достопримечательность Володарского района. В самом глухом уголке, вдали от жилья и рыбацких тоней, на территории в 1400 гектаров раскинулись те самые охотничьи угодья. Наш катер минует узкую протоку, и вдруг открывается длинная стенка капитально оборудованного причала. На берегу выстроилось несколько деревянных домов, баня, радиостанция, видна бетонная площадка для приема одновременно трех вертолетов. Выделяется приземистое здание усадьбы, в которой останавливались именитые охотники.

— Родилась здесь, всю жизнь прожила, без малого двадцать лет в райкоме работаю, а в этом месте ни разу не была,— почему-то шепотом говорит Юлия Викторовна.

На берегу встречает нас Михаил Александрович Плеханов. Он работник Карайского производственного участка Астраханского госспецохотхозяйства. В свое время была у него еще одна должность — личный егерь Леонида Ильича Брежнева.

Любопытства ради просим хозяина открыть усадьбу — последние несколько лет здесь никто не жил. Проходим в помещение. В холле — плетеная мебель, люстры, картины, японские кондиционеры, чучела крупных птиц. Изящно раскинув крылья, стоят фламинго, лебеди и пеликаны. Здесь же шкаф с полным собранием сочинений тогдашнего Генерального секретаря... Одна дверь ведет в просторную столовую — тут широкий обеденный стол, выложенный из темно-красного кирпича камин. А в противоположной стороне по коридору — «нулевой» номер. Здесь отдыхал... Сам!

Спрашиваем:

— Скучно, наверное, сейчас здесь, Михаил Александрович, раньше было веселее?

Окончание на стр. 24.



ЛИМИТ НА ЦИРКУЛЯРЫ? ИЛИ ЛИМИТ НА ПОДПИСКУ?●
ЕСЛИ БЫ ЗНАТЬ ЯПОНСКИЙ...●
БЫЛ ЛИ СВЯТЫМ МЕЙЕРХОЛЬД?●
СВОБОДА СОВЕСТИ И АППАРАТНЫЕ ТАЙНЫ●
ЖДУТ ЛИ НАС В ДОМЕ РЕБЕНКА?●

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

«ТЫ ДА Я, ДА МЫ С ТОБОЙ...»

Весь человеческий опыт свидетельствует, что попытки немедленно ссыпать все, что у кого есть, в общую кучу, а затем разделить на всех поровну далеко не всегда являются воплощением справедливости. Сказанное представляется мне верным и в том случае, если речь идет не только о мире вещей. Сегодня с куда большим энтузиазмом делят, скажем, ответственность. Вчерашние экзекуторы вопиют о травле и незаслуженных попреках, требуют обобщить их с жертвами и разделить ответственность поровну. Вчерашние доносчики требуют и свою ответственность разделить на всех, и пусть с каждого в стране спросят за одну двухсотвосьмидесятипятимиллионную часть любого доноса! Но не больше! Ибо все мы, мол, жили тогда, а, значит, и спрос со всех должен быть равным.

Надо бы уточнить.

Мне очень дорого полученное «Огоньком» письмо народного художника СССР Бориса Ефимова, который честно переосмыслил многое и говорит об уроках своей собственной, неотделимой от эпохи жизни. Он учит нас, раскаиваясь, напоминает, что времена именно таковы, какими мы создаем их. Да, да — мы с вами, те самые, кто топал в ногу на множестве самых разных парадов, хором аплодировал, осуждал, восхищался. Вина и вправду едва ли не всеобща, но в то же время четко дифференцирована. Надо помнить, что невыразительное «мы с вами» полюсно. И, борясь за консолидацию, мы именно критериями перестройки, революционного обновления общества должны оценивать любое явление.

Ах как желается кой-кому смешать воедино тех, кто репрессиями утверждал сталинский культ, с теми, кто искренне превозносил обожествленное официальной пропагандой имя!

В редакцию пришло письмо, укоряющее одного из самых известных наших поэтов, что в детстве он-де написал стишок во славу Сталина. Поэта требовали привлечь. И те, кто корыстно пользовался брежневским благорасположением, требуют, чтобы рассказывавшие анекдоты об авторе «эпохальных романов» и выступавшие инициаторами премиально-звездных забав в честь престарелого руководителя были признаны равно ответственными за создание эпохи застоя.

А ждановские душедробительные речи-постановления? Они ведь всем снятся по-разному: одним — как прошлый кошмар, а другим — как мечта о будущем. Все не лепится в одну аморфную заединщину, ну никак не прячется одно в другое. И хорошо, что не лепится и не прячется. Допрятывались...

Старая история о людях с нечистой совестью, стремящихся втереться в толпу, подтверждена многократно. Мы все из прошлого: но каждый в нем жил по-своему. Даже спички в одном коробке — и те разные.

Мы уже несколько раз публиковали бумаги, так сказать, служебного свойства: доносы, даже черновики документов. Очень больно такое публиковать, но это вызвано единственным чувством: все прежние клеветники с доносчиками должны знать, что их сочинения хранятся вечно. Рукописи не горят — это не раз подтверждалось не только в отношении удивительным образом воскресавших явлений литературы. Грядущие доносчики должны вздрагивать от знания того факта, что вся клевета их предшественников и учителей нетленна, аккуратно подшита и хранится в большом порядке. Всему свой черед.

И все же, публикуя недавно выдержки из речей писателей, поносивших тридцать лет назад Пастернака, мы дрогнули и решили не называть фамилий. Увидели, что многие из тогдашних сокрушителей нобелевского лауреата в дальнейшем честно жили и работали. Но спокойно ли? Хочется верить, что пережитый урок соучастия в преступлении сказался — не могло быть иначе. Уроки покаяния тоже надо осмысливать. Было бы покаяние...

Мы освобождаемся от двойной морали, общество и страна возвращают утраченные нравственные идеалы. Покаяние необходимо, ибо почти каждый, хоть как-то, хоть пассивно, а соучаствовал в доведении страны до нынешнего ее состояния. Только вина различна у всех — говоря о ней в открытую, становимся чище, конкретнее, понятнее в нашем общем усилии изменить жизнь к лучшему. Уроки времени должны идти нам на пользу; уже идут, мы меняемся, в обществе уменьшается количество стыдных тайн. Но когда слышны требования, что, мол, довольно правды, когда требуют отождествить умалчивание с милосердием — согласиться невозможно.

Уроки подлежат усвоению.

Надо глядеть в глаза друг другу, зная, кто есть кто. Не рвать в клочки, не унижать мелко согрешивших и оступившихся, а хорошо понимать сегодняшнюю степень надежности каждого. Провинности и заслуги сугубо индивидуальны. Уходя на разведку будущего, надо точно знать, с кем уходишь в разведку.

Виталий КОРОТИЧ

■

В ежегоднике «Будущее науки», выпуск 21 (издательство «Знание», 1988), на странице 19 академик Г. С. Поспелов приводит следующие факты: «По данным Института кибернетики АН УССР, в деловой и экономической сферах у нас в стране ежегодно циркулирует 80 миллиардов документов объемом в среднем по десять машинописных страниц каждый, что приводит к совершенно невероятным цифрам: 140 печатных листов, или пять толстых книг на душу населения в год!»

Не пора ли установить жесткий лимит на бюрократическое бумаготворчество? Нужно превратить бумагу из средства свертывания гласности в мощный рычаг перестройки.

Л. ВЕРХОВСКИЙ
Москва

■

Журналисты часто пишут о случаях нерациональных трат народных денег: классический пример — работы по повороту рек, по мелиорации, строительству БАМа и т. п. Поскольку одной из первейших социальных задач является обеспечение людей жильем, предлагаю приводить суммы затрат на ненужные, а часто и вредные для страны проекты и стройки в сравнении со стоимостью жилых домов. Так, девятиэтажный кооперативный дом, в котором мы живем, имеет 144 квартиры: 18 пятикомнатных, 54 трехкомнатных, по 36 двух- и однокомнатных — и стоит около миллиона рублей. Тогда миллиарды, затраченные на проект поворота рек, выглядели бы по-другому: один миллиард — 1000 таких домов, то есть более полумиллиона людей могли бы жить в нормальных условиях. А сколько таких миллиардов?!

Г. Г. КОСТРЮКОВА
Одесса

■

С 1 января нынешнего года вступил в действие Закон СССР «О порядке обжалования в суд неправомерных действий должностных лиц, ущемляющих права граждан». Его проект был вынесен на сессию Верховного Совета СССР 30 июня 1987 года, однако в связи с тем, что он был «сырым», высший законодательный орган вынужден был вновь к нему вернуться и внести ряд изменений. В окончательном виде Закон принят 20 октября 1987 года.

Издан он на основании ст. 58 Конституции СССР, гласящей, что граждане СССР имеют право обжаловать действия должностных лиц государственных и общественных органов, превысивших свои полномочия и ущемляющих права граждан. С момента принятия Основного Закона прошло десять лет, но в период «застойного» времени в нашем государстве вышеуказанная норма Конституции носила лишь декларативный характер.

После того, как Закон был принят, в периодической печати появились статьи, рассматривающие его как важный элемент перестройки в правовой сфере. Но были и другие мнения ученых, журналистов, которые опасались, что намеченная норма может оказаться куцей и урезанной. Как практический работник, считаю: существующий ныне Закон не работает и в должной мере не защищает интересы и права граждан. Приведу такие данные: за первое полугодие 1988 года 47 народными судами Московской области рассмотрено всего 44 жалобы, хотя за тот же период рассмотрено около 38 тысяч гражданских дел. 44 жалобы на восьмимиллионное население Московской области — сама эта цифра красноречиво говорит о действенности и возможностях Закона. Напрашивается вопрос: кому нужен Закон, который не работает? Государству или гражданам?! Думаю, что гражданам Закон, в должной мере не защищающий их права, не нужен — по крайней мере в его нынешней редакции. Существуют злополучные перечни № 1 и № 2 категорий работников, трудовые споры которых по вопросам увольнения, изменения формулировки причин увольнения, перевода на другую работу и наложения дисциплинарных взысканий разрешаются вышестоящими в порядке подчиненности органами. А это вполне устраивает ведомства, коим удобно не выносить сор из избы, то есть в народные суды, и решать судьбу людей по трудовым спорам по своему усмотрению.

Кроме того, в конце декабря 1987 года были утверждены «Примерные методические рекомендации по применению Закона», где указано, какие жалобы могут рассматривать суды: по отказу в прописке, в регистрации транспортных средств — всего по десяти пунктам. Эта рекомендация для судов является своего рода инструкцией. Представляется, что таким образом на Закон надели узду и сработал живучий и наезженный стереотип мышления: «Как же может существовать Закон без инструкции?» И это притом, что в самом Законе осталось не так много вопросов, по которым гражданин может обращаться в суд, обжалуя неправомерные действия должностных лиц. Остается только мечтать, когда же начнет действовать принцип, утвержденный в резолюции XIX партконференции «О правовой реформе», — «Разрешено все, что не запрещено Законом». Нам же, юристам-практикам, хочется не мечтать, а видеть Закон живым и нужным людям, Закон, который бы работал на перестройку.

В. Д. БОРОДИН,
председатель Воскресенского городского народного суда
Московская область

■

В советской печати появились упоминания о подготовке нового закона о свободе совести, который бы способствовал реализации подлинного равноправия верующих и неверующих граждан. Об этом говорил М. С. Горбачев на встрече с патриархом Пименом и членами Синода Русской православной церкви, а также в своем докладе на XIX партконференции; о скорой подготовке нового закона говорил и А. А. Громыко во время беседы с участниками празднования тысячелетия крещения Руси.

Совершенствованию отношений между церковью и государством, включая изменение действующего законодательства, уделил внимание и ваш журнал, поместив в № 21 за этот год весьма интересную беседу с К. М. Харчевым.

Однако до сих пор не ясно, будет ли проект нового закона предварительно опубликован с целью демократического его обсуждения, в ходе которого верующие и неверующие могли бы высказать свои критические замечания и предложения. Наверно, сейчас уже нет нужды доказывать, что только открытое обсуждение столь важного вопроса нашей государственной жизни может стать гарантией подлинного учета насущных интересов миллионов верующих (да и неверующих) граждан. Очень хочется надеяться, что закон не окажется подготовленным втихомолку и вынесенным на утверждение прежним, «аппаратным» способом.

В связи с отсутствием официальной информации среди церковных кругов, естественно, расходятся разнообразные слухи относительно содержания нового закона, а также предполагаемого времени и способа его принятия. Недавно зарубежные радиостанции в своих религиозных программах передавали текст некоего проекта Закона СССР о свободе совести и о религиозных организациях. Тот же текст с недавнего времени ходит по рукам в машинописных копиях. Производит он вроде бы правдоподобное впечатление, но можно ли ему доверять? Да и почему мы, граждане своей страны, должны узнавать о содержании столь важного законопроекта из слухов и передач «Голоса Америки»?

Очень хотелось бы получить авторитетное разъяснение по этому важному для меня и множества верующих вопросу.

Николай БАЛАШОВ,
православный церковнослужитель

■

Хотел бы затронуть вопрос, который не раз уже поднимался. Я имею в виду право граждан страны знать, как, в каких условиях трудятся наши руководители, как у них проходит рабочий день, сколько они работают. К тому же эти данные могли бы кое-что прояснить, многие мифы рухнули, если бы все знали, что М. С. Горбачев работает с 8.20—8.30 до 21—22 часов, весьма часто прихватывает и субботы, что из-за занятости даже не всегда имеет возможность обедать в столовой, что при Генсеке круглосуточно дежурят три секретаря и, поскольку они выполняют сложную работу, принимаются только мужчины. Что кабинет Михаила Сергеевича находится на пятом этаже в одном из зданий теперь уже старой постройки.

Да, многое можно узнать из книги японских журналистов, вышедшей в свет в этом году в Токио. Нет, я не японец и даже языка не знаю. Все это я почерпнул из любезно переведенных глав, которые напечатал еженедельник «За рубежом» в № 22 за этот год. Но мне стыдно и унизительно, что все это я узнаю не из советских источников.

В. В. НИКИТИН,
учитель, 30 лет
п. Спасская Губа, Карелия

■

В Советском Союзе адрес пишется на конверте иначе, не так, как во всем мире. Под маркой — адрес получателя, под ним — адрес отправителя. У нас, да и в других странах, наоборот. Почему бы и вам не ввести аналогичные мировым правила?

Я получаю из СССР много писем, в том числе от сына, который учится у вас, и постоянно вижу на конвертах надпечатки «куда», «кому», «индекс предприятия связи и адрес отправителя» и т. д. Зачем все это? Граждане такой культурной страны, как ваша, не нуждаются в подобных канцелярских указаниях.

Ваши сортировщики на почте часто сдирают красивые монгольские марки с конверта, чтобы пополнить свои коллекции, и из-за этого письма не доходят до адресата. Такое не раз случалось со мной и подтверждается рассказами ваших специалистов, работающих в МНР.

Ц. ЦЭРЭН,
переводчик
Улан-Батор, Монголия

■

Мне понятны чувства, которые побудили читателя Э. Дементьева высказать возражения против моей статьи о Мейерхольде (статья напечатана в № 22, письмо — в № 34). Действительно, имя Мейерхольда в начале 20-х годов, когда он, первый из крупных деятелей русской сцены вступивший в партию большевиков, возглавил Театральный отдел (ТЕО) Наркомпроса, провозгласил программу «Театрального Октября» и резко выступал против старых академических театров,— имя это многим внушало и страх и неприязнь. Вполне допускаю, что в 30-е годы кампания проработки Мейерхольда у иных вызывала, как пишет Э. Дементьев, «скорее злорадство». Но это не означает, что их злорадство было праведным и что слухи, которые дошли до Э. Дементьева в ту далекую пору, верны.

Неверно, будто Мейерхольд «шельмовал» Станиславского и «приписывал ему политические промахи». Ни разу в жизни ни одного дурного слова о Станиславском, своем учителе, он не произнес и не написал. Неверно, будто «тысячи людей лишились работы из-за него». Мне (а я более тридцати лет изучаю документы и материалы, связанные с жизнью и творчеством Мейерхольда) такие факты неизвестны. Во главе ТЕО Наркомпроса Мейерхольд находился с 16 сентября 1920 года до 1 мая 1921 года, то есть чуть больше полугода. Администратором он оказался плохим и впредь никаких административных постов не занимал. Так что называть его «чиновником от искусства» нельзя и говорить о его «административных методах» ни в коем случае не приходится.

Точно так же нимало не соответствует истине утверждение, якобы Мейерхольд «бился за культ собственной личности». Понятие «мейерхольдовщина» имеет совсем иной смысл, нежели тот, который вкладывает в это слово Э. Дементьев. «Мейерхольдовщиной» называли осудительно его театральные эксперименты. Упоминаемая автором письма пародия Ильфа и Петрова, равно как и известная пародия Булгакова, очень остроумна, смешна, но было бы чрезвычайно опрометчиво оценивать искусство режиссера, основываясь на этих пародиях. Что имеет в виду Э. Дементьев, говоря о «грубых ошибках» Мейерхольда, мне лично не ясно. Не думаю, что в искусстве бывают «ошибки».

Я далек от мысли, что Мейерхольд был «святым», и святым его не рисую. У него был трудный характер. Отстаивая свои позиции в искусстве в обоюдоострой полемике 20 — 30-х годов, он часто — и далеко не всегда по делу — прибегал к политической терминологии. Об этом подробно написано в моих книгах «Режиссер Мейерхольд» (М., 1969) и «Мейерхольд» (М., 1981). В статье для «Огонька» я стремился рассказать о том, чего раньше, в книгах, рассказать не мог: как уничтожили театр Мейерхольда, как погубили гениального режиссера.

Мейерхольд не был ни святым, ни ангелом, но он был великим художником XX века, замученным и расстрелянным в бериевских застенках. Память о нем не следует омрачать ложными домыслами, вроде того, будто сам он кого-то «бил», карал и преследовал.

К. РУДНИЦКИЙ,
доктор искусствоведения

Когда номер подписывался в печать, стало известно, что автор этого письма, замечательный критик, исследователь театра, Константин Лазаревич Рудницкий ушел из жизни.

■

13 августа этого года в сквере против памятника Пушкину в столице мы увидели, как работают агитаторы общества «Память». Вокруг них сразу собрались женщины кликушеского вида. Стали поносить евреев: они-де спаивают русский народ. Молодой человек с хорошим лицом убежденно и спокойно нес абсолютно геббельсовские фразы о засилье евреев во всех областях нашей жизни, особенно в культуре и науке, опять же о спаивании русских людей, о том, что Пушкин и Петр Первый — масоны, а патриоту Бондареву не дают выступить в печати. Один из нас возразил, сказал, что читал отведенную патриоту полосу в «Литературной газете», что он получил трибуну на XIX партконференции и с помощью телевидения всесоюзную аудиторию, доклад его полностью был напечатан центральными газетами. На нас посмотрели с интересом: не евреи ли, не масоны?

По соседству тем временем горячо обсуждался вопрос о недопустимости браков русских с нерусскими, о выселении евреев и инородцев. Мифических масонов тоже искоренить, но как конкретно, пока неизвестно. Вот так легально, в центре Москвы, а судя по публикациям, и в других городах трудятся не покладая рук функционеры общества «Память», уже не прикрываясь заботой о гибнущих памятниках старины и их реставрации. Теперь камуфляж иной: лозунги, заимствованные с чужих знамен.

В августовском номере «Нового мира» критик А. Латынина в статье «Колокольный звон — не молитва» вслед за В. Распутиным сетует на то, что общество «Память» не может высказаться открыто, не может изложить свои взгляды публично. Свидетельствуем: может, да еще как!

Вдумаемся в то, что происходит. Сегодня наше общество только начинает выздоравливать после долгой болезни, пытается очиститься от скверны культа и застоя, создать здоровую конкурентоспособную экономику, правовые и нравственные институты. И, как часто бывает с организмом ослабленным, он особенно восприимчив к инфекции. Видимо, на это и делает ставку «Память».

Под гипнозом лозунгов, которые сейчас странным эхом прозвучали в Ленинграде и в Москве, уже двигались одураченные толпы. А борьба с «космополитами», мнимые разоблачения врачей, лысенковщина способствовали таким изоляции и застою, в частности, в биологии и медицине, от которых они и по сей день не могут оправиться.

Ю. И. ГУРФИНКЕЛЬ,
Т. В. ТИМОФЕЕВА,
врачи

■

Многие, вероятно, смотрели по телевидению фильм «Долги наши» — о судьбе детей в Домах ребенка и детских домах, в некоторых многодетных неблагополучных семьях.

На другой день в транспорте, на предприятиях много было обсуждений, горячих откликов. Никто не может остаться равнодушным к брошенным детям, понимая, что никакой самый красивый интерьер, никакое, даже самое прекрасное питание не могут заменить главного в развитии малышей — общения с доброжелательными, чуткими людьми.

Мы знаем, что в Домах ребенка не хватает персонала, что только бы успеть накормить, поменять пеленки да ползунки. Какое уж тут общение! Но почему не призвать к этой работе добровольцев, тех, кто по собственному желанию на общественных началах пришел бы в Дом малюток?

И еще. Мы ходим на овощные базы, перебираем гнилые овощи, работаем на стройках, зачастую перебрасывая там мусор с одного места на другое, ездим в подшефные колхозы — и все это по разнарядке из райкомов партии. Думаем, что посылать людей в Дома ребенка дело не менее, а может быть, даже более важное. Мы приходили бы не выносить горшки, не стирать пеленки (это дело персонала), а заниматься с детьми (гулять, играть, читать), одним словом — общаться.

Много, видимо, желающих будет помочь из тех, кто хотел бы усыновить или удочерить малыша. Неплохо бы упростить этот сложный на сегодняшний день процесс. Подчас желающие взять ребенка на воспитание теряются и опускают руки перед высокой непробиваемой бюрократической стеной.

Понимаем, что возникнут новые трудности, заведующие многих Домов ребенка не захотят взять на себя дополнительные обязанности, не все решатся пускать к себе посторонних лиц: кое-где вскроются недостатки по содержанию детей, уходу за ними. Но именно поэтому нужно начинать как можно быстрее.

Готовы оказать посильную помощь в любой момент и просим: подскажите, каким образом осуществить наши предложения.

От имени женщин всего нашего производственного объединения

Г. Т. БРЮШКОВА,
ведущий конструктор, профгрупорг,
Н. А. ГОМОЗОВА,
ведущий инженер,
член бюро женсовета,
Н. Б. РОГОВА,
председатель женсовета

ПОЧТА • ПОЧТА
«ОГОНЬКА»
ПОЧТА • ПОЧТА

Наш адрес:
101456,
Москва,
Бумажный проезд, 14.

Заметки на полях канотье

СВИДАНИЕ С ДЮКОМ

ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МАРЧЕЛЛО!.. РУКАМИ НЕ ТРОГАТЬ.

ФЕСТИВАЛЬНАЯ МОДА

ВСЕ НА ПРОДАЖУ! «ТО МЫ УЖЕ ПОПРОБОВАЛИ, ТЕПЕРЬ ПОПРОБУЕМ ЭТО».

«ЗОЛОТОЙ ДЮК» — ГЛАВНЫЙ ПРИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО ФЕСТИВАЛЯ — У НАШЕГО ЖУРНАЛА. СПАСИБО, ОДЕССА!



Владимир ЧЕРНОВ

В самолете разрешили курить. Всем раздали картонные канотье, исполнили по трансляции что-то бесшабашное, и мы стали Праздником, который летит в Одессу. Вы были когда-нибудь праздником? Любопытное ощущение.

Фото Юрия КОЗЫРЕВА

Земля. Ночь, полная огней, влажный ветер в лицо. В прожекторах внизу мечется встречающая толпа. Телевизионщики, фоторепортеры, девушки с караваем. «Вы не видели Марчелло Мастроянни?» — «Я нет, а вы?» — «Господи, да вон же он! Где? Где? МАРЧЕЛЛО! (поймали корреспондента «Правды» Капралова) Бедненький, похудел-то как!» Кланяясь, поднесли каравай. Блицы — бах! бах! Увековечен Капралов с караваем под мышкой. «А вы не дадите мне интервью?» — «Сколько угодно, только донесу вещи гражданке, и я ваш, мадам!» — «Так вы носильщик? Что же вы мне голову морочите!» — «Вон Абдулов! Вон он! С бородой! С рыжей!» — «Не может быть, он же брюнет!» — «Ха! Не понимаете? Замаскирован. Прячется от поклонниц. Держите, а то уйдет!»

Гостиница. Есть вода. Правда, только горячая. Это уже настораживает. Вода в Одессе ночью? Коридорная: «Воду из крана пить нельзя — будет расстройство желудка. Налейте в графин, утром будет чем умыться. Возможно, завтра ее не будет».— «Ничего, искупаемся в море».— «Тю! И вас такая покроет сыпь!»

Станислав Говорухин: Прежние партийные и городские власти виноваты в том, что курортный, культурный центр страны развивался только как промышленный город. Славы на этом пути он не достиг, а растерял все, что было,— в упадок пришел архитектурный облик, обострена экологическая обстановка. Против Одессы совершено тягчайшее преступление.

Михаил Жванецкий: Надо растеребить этот полуживой город, собрать здесь приличных людей, красивых женщин, остатки всесоюзной интеллигенции, показать тот шик, который у нас есть, но не имеет выхода. Если все это называется кинофестиваль — пожалуйста! Международный — еще лучше!

Говорухин: Я не верю, что можно многое здесь реанимировать. Я похож на врача, который продолжает делать искусственное дыхание только что умершему: в одном случае из ста человек задышит. Сейчас все вспоминают образ из «Жертвоприношения» — мальчик поливает сухое дерево. Да, поливать сухое дерево!

Жванецкий: Во всяком случае, с ослаблением административного давления, со снятием запрета на одесский характер жизнь города чуть-чуть начала дышать: художники на бульварах, кооперативные лавочки на улицах. То, что мы никому ничего не разрешали,— мы уже попробовали. Может, попробуем теперь всем все разрешить? Ну, не в смысле ломать, а снова строить. Мы дали на себе проверить самые передовые идеи, все системы земледелия и товарооборотов, все веяния в градостроительстве, и всеми своими родственниками заплатили за вспыльчивый характер Верховного Главнокомандующего. То мы уже попробовали, теперь попробуем это? А? Детки!

Мы же в принципе работаем для населения. Народ у нас героический, прекрасный, свободный, трудолюбивый, но у него есть один недостаток: его трудно увидеть. А население наоборот — все время топчется под ногами, хватает понос от питьевой и сыпь от морской воды, проклинает дороговизну, химический завод и жилищное начальство. Население и посещает наши кинозалы, собирая деньги себе на водопровод. Идея фестиваля, неожиданная и прекрасная, в том и состоит, чтобы дать кое-что населению, ибо отнимать у него больше нечего.

Фестиваль взбирается по знаменитой одесской лестнице на первую встречу с Дюком. Лестница бесконечна, но путь неизбежен — Дюк наверху. Дюк Ришелье, что обустроил Одессу, долгие годы стоял памятником, встречая корабли, чуть-чуть не был снесен, дабы уступить место фигуре Лучшего друга биндюжников, но почему-то устоял, съежился от никчемности и позеленел от страха. Теперь он встречает фестиваль, который затвердил за ним здешнее место навсегда и даже назвался его именем, добавив определение «золотой». Польщенный Дюк ждет, но перед фестивалем возникает препятствие. Это народ. Он явился стать свидетелем исторического рандеву и перекрыл проход. Войдя в плотные слои народа, фестиваль теряет форму, торжественное восшествие заменяется беспорядочным протискиванием.

Слишком ждала Одесса, теперь хочется ей не глазом увидеть, а рукою потрогать этот праздник. Мимо, мимо, огибая памятник, проносит нас она, краем глаза ловлю окислившегося Дюка — боже! Они его позолотили! Они обернули его фольгою, оставив ветрам и взглядам сморщенное зеленое личико и зеленую же тонзуру поверх позоло-

РАСПЯТИЕ ПО-ОДЕССКИ.

ИСТОЧНИК «ФОНТАНА»

В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ...

ченного венца. Они дали ему в руку воздушный шарик, и он стоит, онемев, с дурацким шариком, и несется мимо него фестиваль.

Все ищут Марчелло Мастроянни, но он уже спасен. Опережая толпу, обходя ее на два корпуса, крупной рысью уносят тоскливо озирающегося Марчелло двое, некто здоровенный и русский друг его Никита Михалков,— от мчащейся следом толпы в оперный театр, где ждет их Открытие.

Лучших девушек своих — высоких-высоких, только ноги-ноги-ноги и еще немножко но-о-оги преподнес город фестивалю, и они ходят по сцене и между гостей, касаясь бедрами их плеч, Геллы с Приморского бульвара, лишь спереди серебряный лоскуток. Грезы Великого немого, кафе-шантан, Фанкони, ах, Одесса!

Открытие, приветствия, поздравления. И кто-то над ухом: «Знаете, я заглянул в фойе, там в темноте стоит Мастроянни, вид у него ужасный, он ничего не понимает, ему же под семьдесят, ему сунули в руки «Золотого Дюка», видимо, чтобы вынес, а он ни бум-бум по-нашему и держит этого «Дюка». Но тут музыка грянула, пошли по проходу кафешантанные Геллы, подхватили Мастроянни с «Дюком», вывели его на сцену, начали там целовать, пританцовывая, вращая тем, чем следовало вращать. И Мастроянни вдруг двинулся чуть, еще чуть, и точно вошел в их танцующий ряд, и ослепительная улыбка полоснула по лицу его, и всех красивей, всех точнее проделал он танцевальные па, лукавый, богоподобный артист. Это мгновенное вхождение в игру, эта органика. Вот почему он звезда! Его улыбка включила праздник. Поехали!

И был благотворительный концерт, и дал «на водопровод» 30 тысяч рублей, и художник Илья Глазунов подарил городу часть выручки от своей выставки. И 713 тысяч жителей посмотрели 84 привезенных на фестиваль фильма. И ретроспективу Хичкока. И предназначенный к закрытию на ремонт кинотеатр «Одесса» был отдан под эту ретроспективу, художникам разрешено было делать со зданием что угодно. И они сделали. Подчеркнули все трещины и наделали новых, поотбивали штукатурку и развесили по углам паутину маскировочных сетей, расписали стены названиями фильмов — задом наперед, кровавые следы 48-го размера повели зрителей по лестницам и коридорам в просмотровые залы. Мрачное здание, запутанные переходы, запустение, Хичкок. 40 тысяч одесситов рискнули войти в эти стены. Впрочем, до конца ретроспективу досмотреть смогли не все и продавали билеты. «Что так?» — осторожно спросил я продававших. «А, мура этот ваш Хичкок, давным-давно устарел. Раньше надо было его к нам привозить!» Ай-я-яй.

Неотрывно смотрела Одесса другие фильмы. Отечественные, снятые недавно. Неужели? «А вы читали рекламу фильма «Воры в законе»? Так поинтересуйтесь: «Сладкая жизнь» наших миллионеров обходится дорого нам и им недешево. Их бизнес и роскошества оплачиваются проломленными головами, отпиленными руками, детоубийством». Хорошо, пусть это одесская реклама, пусть фильм получил зрительский приз «ККК» — «коммерция, конъюнктура, кич». Пусть. Но это же не про тамошних, про наших миллионеров! Про мафию! А знаете, кто сидел на премьере в первых рядах? Киевская и одесская мафии, слева киевская, справа наша. И в этот день в Одессе не было ни одного случая воровства. У мафии был праздник. А вы говорите!»

Ничего я не говорю. Просто мне гораздо интереснее показался фильм «Мерзавец».

И зрители, и критика оценили сделанное режиссером Вагифом Мустафаевым как нечто в высшей степени любопытное. Такого у нас не снимали. «Маленький человек», наивно честный, законсервировавшийся в каком-то детском состоянии, становится жуткой сволочью, одним из мафиозных главарей.

Фильм был бы, может, самым лучшим, соглашались все, если бы не одно обстоятельство. Невероятность такого превращения. Так не бывает. Или уж докажите. Есть точка исходная и завершающая. Где середина? Где развитие образа, так сказать, диалектика? Самое интересное где? Он ведь был просто придурок, ну, чтоб уж не обижать, законченный чудак, а стал? Не бывает.

Бывает. Еще как. Авторам не хватило мастерства и мудрости это доказать. Они увидели жизнь и сделали с нее отпечаток. А им — не может быть!

Страдания героя, переступающего через себя, через в школе заученную мораль, невозможно было показать, потому что этого и не было. Вовсе не случайно герой посматривает время от времени на крюк под потолком своей комнаты. Он взглядывает туда всякий раз, как настает время подумать, происходящее поосознавать, а через себя переступать. Ему осознаванье тошней смерти. В той жизни, о которой рассказывает Вагиф Мустафаев, и быть не может никаких переходных состояний. Только черный и белый цвет. Так упростилась жизнь. В ней некуда больше податься. Или в мерзавцы — или в придурки. Без вариантов.

Играл все это Мамука Кикалейшвили, актер, каких у нас, я думал, и не осталось вовсе. Большой толстый ребенок. Он будет звездой. У него штучное обаяние. И он это знает. Подчеркивает толщину и нелепость. Пиджак носит на пару размеров больше. Сам себя шаржирует. Я все приставал: как игралось ему Санчо Пансу в только что отснятом "Дон Кихоте" из восьми серий, но он сказал: «А я умею делать трюк! Хотите покажу?» И сел на шпагат посреди Дерибасовской. И одесситы, слушавшие нас, спросили его: раз он такой молодец, может ли Дон Кихота сыграть? Легко отвечал Мамука:

— Конечно. Ведь Дон Кихот и Санчо Панса — одно и то же. Душа и тело, они равно греховны и святы. Мог бы.

А ничего идея: поменять телами рыцаря и оруженосца? Любители снимать «по мотивам», берите! Может, и бред, но что-то есть в этом, честное слово.

А над Дерибасовской зависла тяжелая тишина. Сотни людей на всем ее протяжении стояли вдоль витрин и смотрели туда, заглядывая друг другу через плечо, медленно менялись местами. В витринах не было товаров, там висели плакаты. Выставка политического плаката. Что на них? Девушка в прозрачном, с черной от плеч головой: «Внимание: 15 % проституток Одессы — школьницы». Брежнев при полном параде, в звездах и орденах, вместо лица — дырка: «Помните чувство массового стыда?» Недалеко — вариант, где вместо лица зеркало, и можете заглянуть и прикинуть, как вам брежневский пиджак и весь имидж косноязычного старца. Унитаз, полный черной воды: «Самое синее в мире Черное море мое». Огромный военный человек с лопатой и винтовкой сидит устало и непреклонно на кирпичном кубике с зарешеченным окошечком: «Мы любим нашу землю за то, что в ней зарыто столько талантов». Лист газеты со статьей Нины Андреевой, разорванный снизу, и в разрыве — черная ночь с багровыми отсветами прожекторов над вышками и колючей проволокой — лагеря. Редкостный снимок во весь лист (где его откопали?): Сталин, приставив к носу развернутую пятерню, показывает нам «носик». Косая подпись: «На долгую память. 1937». Пожилой мужчина: «Кошмар!» Другой, движущийся сквозь толпу, как корабль, в пространство: «Видел бы это Сталин!..»

Жадно смотрят и молча. Ни одной хохмы. Листы для отзывов на стволах деревьев. «Замечательно!» «Приятного аппетита, перестройка!» Оцепенение? Освобождение от оцепенения? Перестройка мозгов.

Парень с самодельным плакатиком. Предлагает собираться вместе тем, кого волнует жилищная проблема. Парня осторожно теснят в сторону два милицейских чина. Подходим, фотографируем. Нам: «Пройдемте!» Подхватывают под руки. Мы: «Шагу не сделаем, мы работаем, не мешайте, пожалуйста». И исчезают чины, гул одобрения, парень выше поднимает свой плакатик. Одесса начинает движение в сторону весны. Все, что рухнет от правды,— пусть рушится!

«Мерзавец» о том, как разрушается человек, «Фонтан» о разрушении общества, «Фонтану» не понадобилась реклама, едва был он привезен в Одессу, его украли. Кто? Шутка? И тем не менее фильм действительно украден и до сих пор не найден, а главный приз фестиваля «Золотой Дюк» получила копия, которую, на счастье, захватили предусмотрительные ленинградцы, в Одессу все-таки ехали. Ау, мафия, верни «Фонтан»!

Юрий Мамин, снявший эту ленту, тщательно выбритый, тщательно одетый, губы сложены в усмешку, внимательная готовность сострить, ленинградец, похожий на Зощенко. Говорит с неподвижным лицом, быстро двигая губами, ответы у него рассованы во все карманы, но он за ними не лазит: «Почему я снимал только неизвестных актеров? Отчего же — неизвестных? Мне они очень хорошо известны. Для меня неизвестный актер — Смоктуновский, я его и не снимал».

Да? То, что мы видим на экране, раньше назвали бы абсурдом. Разваливается дом в одном из жилуправлений, разваливается здание нашей жизни при полном наплевательстве на то и жильцов, и тех, кто по долгу службы должен здание сохранять. Они делают все, что могут,— подпирают рушащуюся балку «наглядной агитацией» — реечными каркасами, обтянутыми красной материей, а на ней все наши любимые: «усилим», «укрепим» и «поддержим»!

Мы наглядно видим, как потрясающе велика наша приспособляемость и выживаемость. Нас можно лишить воды, тепла зимой, света ночью — хоть бы нам хны! Мы пойдем в церковь, устроим факельное шествие, зажжем костры и будем плясать вокруг, в нас все, что угодно, кроме здравого смысла и чувства собственного достоинства. И когда наконец все будет исчерпано, и электрик-идиот разобьет топором распределительный щит: «Ничего, к утру привыкнут», и выжить практически уже невозможно, наши лица просветлеют — и мы запоем. Запоем могучую песню, и снова станет не страшно ничего! Лишь одна женщина, да и то потому лишь, что опозорена бесповоротно, затащена в участок, показываема по телевизору (да еще ведущая задает ей садистские вопросы), под истерический смех зала, вдруг глядя в зал, начинает произносить слепые и страшные слова: «Скажите, что же нам делать? Мы же живые. Мы хотим жить по-человечески!» И смолкнет смех, и проступит трагедия. Как неожидан этот поворот! Как это сделано! Какой молодец этот Мамин!

Совершенно прелестный есть в фильме начальник, что, приехав на своей «Волге» исправлять положение, моментально находит замечательный выход, завизжав на подчиненного: «Дать людям все!»

По сценарию в конце дом должен был рухнуть. Но это показалось неправильным Мамину. Разрушение дома лишь на экране? Это не точка. И потому единственный нормальный в этом сумасшедшем доме человек просто нажимает на все кнопки сразу во взбесившемся лифте, и тот уносит его, пробив крышу, аж за пределы земные. Пусть рухнет дом не на экране. Пусть он рухнет от правды.

Но пока разрушается дом, мы идем на литературный аукцион. Александр Ширвиндт, стуча деревянным молотком, пускает с него (молотка) годовые подписки журналов. В условиях лимита. Вот уж куплен за 39 рублей «Новый мир», за 43 рубля — «Дружба народов», «Знамя» — за 40, «Юность» — за 18 (всего двойная цена, странно. Впрочем, у Одессы свои пристрастия). «Молодую гвардию» брать не хочет никто. Ее снимают с аукциона. Но тут вскакивает некто и кричит, что покупает за начальную цену. Зал улюлюкает. Человека это не смущает, он выбирается на сцену и говорит в микрофон, что его зовут Самвел и он купил подписку, чтобы тут же отправить ее обратно в «Молодую гвардию», пусть сами читают: «Это будет им подарок от Одессы».

Далее (буду не скромен, но не могу удержаться) разворачивается борьба за подписку на наш журнал. Лучше бы я этого не видел, пульс мой был за 200, с быстротой необычайной вскакивали люди и, не дожидаясь слов Ширвиндта, набавляли цену. Она неслась вверх, как ртуть на градуснике, сунутом в кипяток. Зал хохотал, рыдал, устраивал овации смельчакам, потрясавшим кошельками, зал водило из стороны в сторону. «350!» — крикнул, наконец, один, но сосед его вытер пот со лба и сказал: «400!» Первый вывернул карманы и сел. Продано!

Победу «Огонька» по популярности среди журналов подтвердили 30 тысяч анкет, опросы в библиотеках, а также в павильоне прессы ВДНХ. Наш журнал получил 65 % первых мест, «Знамя» и «Новый мир» — 15 %, «Юность» и «Октябрь» — 5 %. «Огонек» победил. Первый в истории литературных фестивалей «Золотой Дюк» — наш. В зале пели: «За Советскую Родину, за родной «Огонек». Спасибо, Одесса.

Конечно же, базис сначала. Конечно же, хлеб, водопровод, восстановление городского облика, имен, очищение улиц от грязи, моря от заразы. Но очищение душ? Праздник очищения? Души, увядшие, окоченевшие, разучившиеся, ну! Люди, намолчавшиеся среди водопадов официального косноязычия, говорите теперь, набивайте языки на нормальных словах!

Что ждем от нынешнего кино? Ждем, что закрепит в сознании своих зрителей понятия свободы, демократии, гласности. Сделает привычным новый язык, тот раскованный, дерзкий, который уже есть, но говорить на нем страшно пока. А надо, чтобы стал он обиходным. Кино может и должно научить людей называть дураков дураками.

Я отправился к Дюку. Ночь еще не закончилась, но утром фестиваля уже не будет. Один на ветру, в оборвавшейся фольге, стоял пятнистый маленький Дюк, и листы сорванных мокрых афиш, обрывки газет прибило ветром к нему, облепило вокруг ног, и шарик, уже выпустивший воздух, свисал из протянутой руки. Я влез, мы оказались почти одного роста. Он был холодный, отчужденно смотрел мимо, притворяясь бронзовым. «Ну, ладно,— сказал я,— кончай притворяться. Видишь, как все получилось. Нашумели тут, а будет ли прок? Так хочется, чтобы не зря. Но мы попробуем. И я постараюсь. Дай, Дюк, на счастье ла...—м-м... руку мне!» Скрипнув шеей, он повернул ко мне высохшее личико и пожал мою руку своей птичьей лапкой. «Не горюй, старик,— сказал Дюк,— все будет нормально!»

Я пишу сейчас все это и слышу, как на кухне жена объясняет десятилетнему сыну, «про что» фильм «Жертвоприношение»: страшные сны человечества, обреченность, вера, сухое дерево, которое надо поливать. И сын говорит ей: «Да ты не волнуйся так. Мне все абсолютно понятно. Но нам все это уже неинтересно».— «Кому нам?» — «Моему поколению. Ваше поколение беспокоится, как спасти человечество, и дальше вы не думаете, а мы думаем дальше».— «Господи, о чем же?» — «Но ведь человечество тоже для чего-то находится на земле. Для чего-то оно предназначено?»

Они маленькие еще. Глупые. Но думают уже по-своему. Какое счастье!

ПАЛИТРА

РОЖДЕНИЕ МИФА



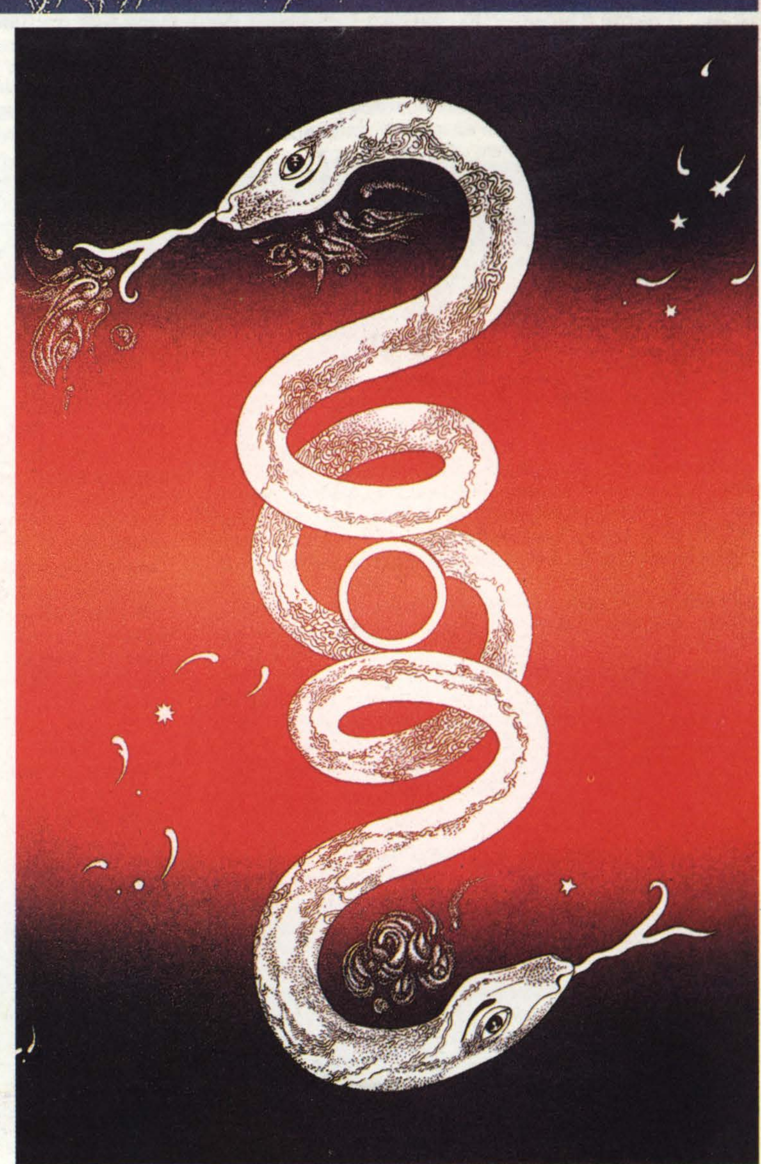
Лилия ДИНАРЕ. Род. 1955.
Из цикла «ШЕСТВИЕ». ЛЕСТНИЦА. 1982.

Не понимаю в живописи призывов, которыми еще недавно украшались (в живописной, конечно, форме) центральные выставочные залы. Последняя экспозиция молодых художников в Манеже прекрасно обошлась без них.

Впрочем, и здесь иногда тематическая актуальность некоторых работ пыталась скрыть их живописную и духовную недостаточность. Именно духовное, общечеловеческое нередко уходило на второй план. Не знаю, разглядели ли посетители зала небольшие графические листы Лилии Динаре — художницы из Латвии, или уставший взгляд уже не смог воспринимать их скупую сосредоточенность, целомудрие... Не могу сказать о зрителях, но специалисты увидели целостность этих работ — графика была приобретена Музеем изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

Популярность Лилии Динаре принесла графика. Двухлетний труд — тридцать работ с пылающим красным и сверкающим синим цветом. Цикл «Игра с кругом». Игра, в которой обнажаются духовные противоречия человека, борьба добра со злом.

Выражая себя, Лилия Динаре стремится к выражению прежде всего общечеловеческих чувств, душевных со-



Из цикла «ИГРА С КРУГОМ». 1979—1980.

У ОКНА. 1979.

стояний. В символике, которую выбрала художница, значительное место занимают именно духовные ценности, которые проповедовались уже в Древней Греции, Египте, Индии — их философия, их восприятие прекрасного. Это гуманизм, преклонение перед человеком, историей, традициями. «Я стремлюсь не культивировать себя, а решать универсальные темы. Я не думаю о своей оригинальности»,— говорит художница.

Начинала Лилия в 13 лет — уже иллюстрировала книги своей матери — латышской писательницы Цецилии Динаре. Национальные корни в ее работах неизменно сильны. Даже элементарный латышский орнамент — солнышко, крестик, елочка и т. д., украшающий ткане пояса или рукавицы, глубоко символичен и вплетается художницей в ткань мировой мифологии. Образы народных легенд — Лайма, Мара, Диев, являющиеся одухотворенными образами живой природы — моря, земли, солнца, появляются в ее графике. Символ, знак, образ... Вот круг (латышское солнце) — символ вечности, единства движения; змея — зло, ум; звездочка — духовная жизнь, гармония... Собранные вместе, они представляют собой, условно говоря, «ларь» символов — свой мир символики, по которому можно воссоздать жизнь.

Александр ШАТАЛОВ

ТРИПТИХ «ШЕСТВИЕ».
Первая часть. 1982.



ТАКАЯ ДЕВОЧКА

Этот рассказ хранился у автора с 1968 года с резолюцией главного редактора «Нового мира» А. Т. Твардовского: «От печатания воздержаться, но связи с автором не терять».



Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ

РАССКАЗ

Теперь она как бы для меня умерла, а может быть, она и на самом деле умерла, хотя за этот месяц в нашем доме никого не хоронили. Наш дом обыкновенный — пять этажей, без лифта, четыре подъезда, напротив точно такой же дом и так далее. Если бы она умерла, сразу бы стало известно. Значит, она еще живет как-то.

Вот гляди: у меня к ящику с незаполненными формулярами приклеена фотокарточка, контроль. Это она, Раиса, Равиля, ударение на последнем слоге, татарка. На этом контроле ничего не видать, лицо завешено волосами, две ноги и две руки: в позе «Мыслителя» Родена.

Она всегда так сидит, даже недавно так сидела у меня на дне рождения. Я ее наблюдала в первый раз в отношениях с другими людьми, до этого времени мы общались только между собой, двое на двое — она со своим Севой и мы с моим Петровым.

Оказалось, что и танцевать она не умела и сидела тихо, как мышь. Мой Петров ее вытянул танцевать, но она после этого танца сразу ушла домой.

Да, танцевать она не умеет, но кто она? Ее Севка откуда взял, из какой ямы выгреб? Она вышла только что из колонии и опять пошла по рукам, а он на ней взял и женился. Он сам мне в растроганности рассказал об этом, но просил под страшной клятвой, чтобы я никому не говорила. Он и про ее отца рассказывал, как Раиса с пяти лет клеила коробочки для пилюль, они с матерью клеили для отца, отец достал себе такую работу, потому что был инвалидом. А потом мать умерла от сердца в больнице, и отец стал открыто приводить к ним в комнату женщин. В общем, страшные вещи. И как Раиса сбежала из дому, попала к каким-то мальчикам в пустую квартиру, и они ее несколько месяцев не выпускали, как потом, через сколько-то времени, эту квартиру раскрыли. Но это все история, это никого теперь не касается, а важно то, что Раиса и сейчас этим занимается.

Севка уходит на работу, она остается дома, она нигде не работает. Севка ей оставляет обед — приходит домой, а она даже не разогрела, даже на кухню не ходила. Лежит целыми днями, курит или по магазинам шастает. Или плачет. Начнет плакать ни с того ни с сего — плачет четыре часа подряд. И, конечно, соседка ко мне прибегает, на ней лица уже нет — бегите спасите Раечку, она плачет. И я мчусь с валидолом, с валерьянкой. Хотя у меня у самой бывает такое — и не просто так, без повода,— что хоть ложись и помирай. Но что у меня творится в душе, какие тяжести мне приходится выносить — никто не знает. Я не кричу, не катаюсь по неубранной кровати. Только когда меня мой Петров в первый раз бросал, когда он с этой Станиславой хотел пожениться, и они уже искали деньги в долг на развод и кооператив и Сашу моего хотели усыновить, только тогда я единственный раз в жизни сорвалась. Правда, Раиса меня тогда защищала, как своего детеныша, и на Петрова прямо с ногтями бросалась.

У Петрова моего это бывает по три-четыре раза в год, такая любовь вечная, бесконечная. Это я теперь уже знаю. А сначала, когда он в первый раз от меня уходил, я чуть было не бросилась с нашего третьего этажа. Я прямо вся дрожала от нетерпения все кончить, потому что накануне он мне сказал, что приведет Станиславу знакомиться с Сашей. Сашу я рано утром отвезла к матери на Нагорную, а потом вернулась и ждала их целый день. А потом полезла на подоконник и стала привязывать кусок провода, который остался после того, как Петров натянул его на кухне в несколько рядов для Сашиных пеленок. Провод был крепкий, изолированный хлорвинилом. И я привязывала этот провод к костылю, который давно Петров вбил в бетонную стену, чтобы укрепить карниз. Тогда еще мы только получили эту комнату и еще Саши не было, и я помнила, что Петров бил стену почти час. Я обвязала концом провода этот костыль, но провод был гладкий, и все никак не держалась петелька на костыле. Но я все-таки примотала провод, сделала петлю на другом конце для шеи, как-то сообразила, что куда вязать. И как раз в этот момент с лестницы стали открывать ключом нашу дверь. И я забыла все на свете, даже забыла про Сашу, а помнила только одно, что они хотят его усыновить, и от этого он уже как будто был для меня испоганенный, как будто не я его родила, не я кормила. И я испугалась, что уже Петров со Станиславой в квартиру входят, и рванула окно за ручку так, что пластырь затрещал. Мы окно пластырем заклеивали на зиму.

А в комнате было уже темно, за окном было видно дом напротив, пустой, без огней — его еще не заселили, только неглубоко внизу горел уличный фонарь. И я еще раз рванула окно так, что даже рама подалась. И в этот момент в комнату вошла Раиса и кинулась обнимать меня за ноги. Она слабая, а я сильная и разъяренная была в этот момент, но она уцепилась за мои ноги как собака и все твердила: «Давай вместе, давай вместе, подожди меня». А я тогда подумала в том плане, что ты-то что лезешь, что у тебя за печаль, и даже оскорбилась как-то за себя. У меня, можно сказать, жизнь обвалилась, меня бросил муж, бросил с ребенком и ребенка этого хочет отнять, а ты-то что? Но Раиса лезла и лезла коленкой в открытое окно, хотя кидаться с нашего третьего этажа в глубокий снег без петли на шее — это смешно. И я ее со всей силой оттолкнула и попала рукой по лицу, а лицо было мокрое, скользкое, ледяное. И я спрыгнула с окна совсем, закрыла окно, а пластырь весь скорчился, и не было никакой возможности его натянуть, да и руки у меня плохо слушались.

И у меня после этого случая осталось только одно — холодность в голове. Не знаю, то ли Раиса сыграла здесь свою роль, но я поняла, что все эти бессмысленные метания и поступки по первому крику души — все это не мое. Что же мне равняться с Раисой.

И оказалось, что все действительно надо было делать с умом. Я сделала так, что эта Станислава вскоре стала сказкой. Это оказалось очень легко, потому что Петров мне по своей глупости проговорился, где и кем она работает, а уж имя у нее было редкое. Потом у Петрова пошли другие, я даже многих по имени и не знала и плевать на них хотела, а не то чтобы бросаться или вешаться. И когда он заводил со мной разговор о разводе, я только отмахивалась. На меня не действовал его плач, его слова о том, что он меня ненавидит. Я ему только говорила с усмешкой: «От себя, мой милый, не убежишь. Если ты шизофреник, то пойди полечись».

Но, по правде сказать, у него было безвыходное положение: выписаться из комнаты, он знал, я не выпишусь. Мне некуда. Нашу шестнадцатиметровую комнату разменять на две невозможно. И еще одно: когда у нас родился Саша, Петрову на его производстве обещали двухкомнатную квартиру. Поэтому я каждый раз знала, что он погуляет и вернется, потому что, когда построят дом и встанет вопрос о желающих, тут ему, одному, да еще разведенному, не дадут ничего. А уже когда получим двухкомнатную квартиру, тогда и разменять ее можно, и развестись. Так что каждый раз Петров оставался со мной ждать двухкомнатной квартиры. А может быть, и не в этом было дело и он возвращался ко мне не поэтому. Потому что я всегда чувствовала: если Петрову по-настоящему приспичит, он не посмотрит ни на квартиру, ни на что, а уйдет, как будто его и не было.

И когда у него кончался очередной роман, он начинал оставаться вечерами дома, приглядывался ко мне, как я летаю из кухни в комнату, помогал мне с Сашей, даже брал его из детского сада и укладывал спать, когда у меня бывала вечерняя смена. И, наконец, приносил бутылку полусладкого шампанского, зная, что я это вино люблю. Надо сказать, что я всегда такой момент предвидела и тоже со своей стороны готовилась к нему. Он говорил мне со вздохом: «Выпьешь со мной?» — и я доставала из кухонного буфета чешские фужеры. Это было всегда волнующе, как первое свидание, с той только разницей, что мы оба знали, чем это сегодня кончится. Такие зигзаги в нашей жизни придавали ей остроту. И Петров мне шептал, что я самая горячая, самая нежная, самая темпераментная.

А Раиса — она ведь в таких вещах стенка стенкой. Наши знакомые ребята, которые с ней имели дело — нельзя сказать, что спали, потому что все это обычно происходило днем, когда Севки не было дома, и достаточно было застать ее в комнате одну, чтобы очень легко всего добиться,— ребята говорили, что с ней неинтересно и она ведет себя так, как будто ей не то что все равно, а даже противно. И она ни с кем не желала после этого разговаривать, как это обычно бывает, ведь люди не только животные, но и мыслящие существа, им интересно знать, чем живет тот человек, который с ними рядом, кто этот человек вообще. Мы иногда с Петровым разговаривали целыми ночами, особенно после его зигзагов, и не могли наговориться. Он мне рассказывал о своих женщинах, сравнивал их со мной, а мне все было мало, я выпытывала у него все новые и новые подробности. И мы вместе смеялись, правда, очень по-доброму, над Раисой. Ведь все наши знакомые ребята, ну, буквально все, даже с родины Петрова, приезжавшие к нам, все перебывали у Раисы. И все нам о ней рассказывали.

Вот, например, такой мальчик, Грант, земляк Петрова. Мы ему писали, что, если он приедет и нас не будет дома, ключ хранится в соседней квартире у Раисы, она почти всегда на месте. Мы уже давно так сделали, чтобы ключ был у Раисы — так удобней. И ее ключ был у нас. Чтобы не звонить лишний раз друг другу в квартиру, не вмешивать в это дело соседей.

Когда мы оба вернулись с работы, Грант уже сидит на Сашиной диван-кровати, красный, грустный, рассматривает монографию Сислея. А на детском секретере лежат Раисины ключи от нашей двери. Мы все сразу поняли, засмеялись. Я спрашиваю: «Что, Раиса раскололась?» А он смотрит на нас с испугом, потрясенный. Потом, когда мы ему все объяснили, он протрезвел и успокоился, рассказал во всех подробностях. Говорит, что когда она открыла ему дверь, то он даже спросил: «Что вы меня так испугались? Я же не кусаюсь». А она отскочила в угол. Она была в одном халате, она всегда так дома ходит. И он добавил, что у него было такое впечатление, что она сама на все идет, потому что она боится чего-то, просто теряет память от страха. И от этого потом остается отвратительный осадок на душе, как будто оскорбил кого-то, хотя она ничего не говорила и не сопротивлялась.

Но мы его успокоили, чтобы он не волновался. Это у нее со всеми так внешне выглядит. Это она с первого раза производит впечатление маленькой, черненькой, тихой девочки, и танцевать-то она не умеет, и, когда к нам приходят гости, она тише воды сидит на Сашиной диван-кровати и вытащить ее танцевать можно только с большим трудом, потому что она пугается многолюдья. И все наши ребята на это попадаются, у всех просыпается охотничий инстинкт, все тянут ее из угла за руку, а она прямо вся дрожит. И уходит домой.

Она на меня и с самого начала нашего знакомства произвела какое-то жалящее впечатление, как новорожденное животное, не маленькое, а именно новорожденное, которое не умиляет своей хорошенькостью, а прямо жалит в самое сердце. Никакая любовь не мешает этому жалению, это чистая жалость, от которой перехватывает дух.

Началось это с того, что она позвонила к нам в квартиру в четвертом часу ночи, не разбирая, что это чужие люди, что ночь. Я открыла, она стоит в своем халатике, щеки мокрые, слезы льются с подбородка, руки в карманах, вся дрожит и просит сигаретку. Я провела ее на кухню, включила свет, нашла у Петрова в пальто начатую пачку сигарет. Покурили мы с ней, я ее спрашиваю: «А где ваш Сева?» А она опухшими губами отвечает: «В командировке». Просидели мы с ней долго, я ей кофе сварила, пока она не перестала дрожать. Потом я почувствовала, что Саша во сне раскрылся, пошла в комнату, закрыла его, возвращаюсь: она опять скрючилась на табуретке, плачет. «Что вы? — спрашиваю.— Наверное, по мужу скучаете?» Она подняла голову и говорит: «Я боюсь бомбы». Не смерти она боится, а бомбы, представляешь? И видно, что ни капельки она не играет — вот чего в ней никогда не было, так это игры. Она все делала то, что

приходилось делать, и никогда не притворялась. Вот что в ней было странного: у нее совершенно не было сопротивления, что ли. Что-то в ней было испорчено, какой-то инстинкт самосохранения. И это сразу чувствовалось.

Перед уходом, в дверях, она заплакала снова и так и ушла к себе. Я не стала ее удерживать — уже начиналось утро, мне к девяти было на работу. И потом, на работе, я всем своим девкам рассказала про свою соседку, такую девочку, совесть мира. Я даже гордиться ею начала.

И мы не могли дня друг без друга прожить. Или они с Севкой у нас торчали, или мы у них. Пойдешь за сигаретой — она просит: посиди, покурим. И на два часа. Я ей все рассказывала, вот как сейчас тебе. Я такой человек, мне легче от этого, когда я рассказываю. И вот мы два часа с ней сидим, мировые проблемы обсуждаем — о жизни, о людях. Я-то спокойно сижу, разговариваю. Я хорошая хозяйка, у меня уже с утра все сделано, уже и обед готов, и сразу после обеда я сматываюсь в институт, когда у меня вторая смена. А она и не работает, ничего у нее не сделано, как будто она и не жена Севке. Он и на работу, и в магазин, и домой летит как сумасшедший, как будто у него там младенец кричит. Придет, все уберет, хотя от Раисы, кроме полной пепельницы, никакого мусора не оставалось. Тарелок она не пачкала, Севка ей в кастрюльке суп оставит, на сковороде второе — она даже и не заглянет, даже ложкой не поболтает.

Севка и к врачу ее водил, отпросился с работы и повел. Врач нашел у нее полное истощение и даже чуть ли не дистрофию. Как будто человек в блокаде живет. Прописал ей колоть алоэ.

Она купила себе шприц — и вот вам развлечение, колет сама себе в ногу повыше колена. Все у нее по порядку — тампоны, спирт, бикс для стерильной ваты, сама кипятит иглу. Откуда-то она это знает. Потом сядет к окну, скажет: «Отвернитесь»,— и такой тихий цедящий звук раздается, такое сипение. Я прямо внутренне содрогалась, смотрю на Севку — он белый стоит, о косяк опирается. А она говорит: «Все, дураки»,— а сама еще шприц не вынула, еще следит, как последний осадок из шприца выходит.

Так мы дружили, она с моим Петровым из-за меня сколько раз схватывалась. Ругаться она не умела как следует, а только говорила: «Ты настоящая сука, понял?» Наверно, так в колонии ругалась.

Петров тут недавно одной девушкой занялся, у нас же в институте работает, в лаборатории у Антоновой. Ты ее знаешь, такая полная, рыхлая, пустое место. И мой Петров заходит и заходит за мной на работу, хотя знает, допустим, что я во вторую смену и идти домой не могу. И все-таки спрашивает: «Идешь домой?» Отвечаю, что нет. «Тогда не буду тебя ждать». И идет прямиком к той в лабораторию. И она, как ни странно, ко мне в комнату стала заходить. А Петров уже тут как тут. Общий разговор, и уже я оглянуться не успела, как Петров ее приглашает к нам в гости. Он вообще очень любит, когда к нам гости приходят, просто жить без этого не может. Если вечер у нас пустой, он сидит мрачный, а потом вдруг сорвется и уйдет.

И как раз такое время наступило, что эта пустота обязательно должна была чем-нибудь заполниться. Я просто физически чувствовала приближение этого. Я смотрела по сторонам и отмечала про себя всех знакомых девчонок и спрашивала: эта или та? У нас в доме в это время бывало много народу. Сашу я почти переселила к маме на Нагорную, хотя у нее там была еще внучка. Каждый вечер гости — мы с Петровым жили лихорадочно, как на постоялом дворе, приходили к нам компании с гитарами, приносили вино. Я делала свои фирменные блюда — колбасу из печенья с орехами в целлофане и жареный лук с желтком и черными гренками. И у меня было такое впечатление, что все идет псу под хвост, все обваливается, все сейчас разлетится, потому что, несмотря на магнитофон и красивых парней и девушек, было у нас в доме в эти вечера насильственно, скучно.

И я смотрела на всех этих молоденьких девушек, которые созревали целыми гроздьями в то время, как я рожала Сашу, растила его, ходила по магазинам, кормила и обстирывала Петрова, в то время, как мы покупали магнитофон и детскую мебель для выросшего Саши. Девушки шли в наступление целыми ротами — красивые, модно причесанные, ловко оборачивающиеся со своими скудными стипендиями и зарплатами, готовые на все, агрессивные. Но я знала, что мне не их надо бояться. Все-таки я своего Петрова знала. И я смотрела на всех девушек и знала, что ему надо Раису, и не просто так, а на всю жизнь.

Но, как ни странно, отношения у них не только не наладились, но даже и ухудшились. Она его просто видеть не могла и все реже появлялась в его присутствии у нас дома. Она не могла ему простить того, что я валюсь с ног от неизвестности, ведь я ей все рассказывала, кроме своего главного подозрения.



Рисунок
Левона
ХАЧАТРЯНА

И потом вот он пригласил в гости эту полную, рыхлую Надежду из третьей лаборатории. У него есть эта странная привычка: каждую из своих девушек он обязательно приводит к нам в дом. Я не могу понять, что заставляет его так делать. Иногда я думаю, что он это делает ради меня, против меня, чтобы заставить меня еще больше мучиться и этим сделать свой зигзаг еще более для себя сладостным. Но вдруг я думаю, что я здесь ни при чем, что Петров приводит к нам свою очередную девушку ради собственного спокойствия, чтобы все было честно, без обмана и та девушка точно знала, на что идет, на что замахивается, а сам Петров после этого как бы отстранялся от хлопот, уходил из мертвого пространства, разделявшего нас с этой второй женщиной, чтобы мы вели борьбу друг с другом, а не с ним. А может быть, Петров не способен на такой утонченный психологизм и просто вначале, когда у них еще дело не дошло до постели, заманивал ту вторую девушку двусмысленной, щекочущей ролью подруги семейной пары. Ведь сам Петров внешне довольно серый, и что в нем находят все эти женщины, я не знаю.

Короче говоря, в нашем доме посреди всего этого бедлама появилась эта девушка Надежда. Мне показалось даже, что Петрову она не очень интересна, что она только мой слабый постельный эквивалент и на этот раз зигзаг будет недолгий. Очень уж она была покорна, нетребовательна. В ней не было ничего от дичи, которую надо бояться спугнуть. Она была домашнее животное, которое можно было просто гнать хворостиной. Поэтому я ее пожалела. Мы немного с ней подружились. Мы вместе уходили из института, когда я работала в первую смену. И я постепенно выяснила, что она ничего в жизни не понимает, ни в чем не знает толка — ни в хорошем белье, ни в книгах, ни в еде. Она только слепо чувствовала, всей своей кожей, тепло и доброту и тогда, не меняя выражения лица и ни слова не говоря, шла на это тепло. На ее счету было в институте несколько ничем не окончившихся романов и даже беременность, в результате которой ребенок пришел на свет мертвым. Я помнила это происшествие и помнила, что бабы у нас говорили, что так для Надежды лучше.

Наша дружба втроем продолжалась довольно долго и еще бы продолжалась, если бы не один случай. Выходя из комнаты за кофейником, я взглянула на себя в зеркало в прихожей. Там отражалась часть комнаты и стол, за которым сидел Петров с Надеждой. И я увидела, что Петров осторожно, как ребенка, гладит согнутой ладонью Надежду по подбородку и что Надежда берет эту руку Петрова и кладет ее себе на грудь.

Я держала себя в руках, хотя мучилась только одним: как же так я могла проморгать? Почему я думала на Раису, когда реальная опасность — вот она, вспухла у меня под боком, и это тем страшней, что Надежда ничего из себя не представляет. Раиса все-таки «совесть мира, такая девочка», а тут — пустое место.

Петров пошел провожать Надежду и вернулся в час ночи, истощенный и потерявший все силы, разбитый. Я его не тронула, не стала ничего ему говорить, потому что я знала: в таком состоянии Петров идет к одной цели — спать. Если бы я ему что-нибудь сказала и выгнала бы его, он бы мог спать на кухне, на лестнице, на подоконнике. Он бы мог уйти к Надежде и остаться у нее. Почему-то он пришел домой. Значит, еще не все потеряно. Значит, это у него еще не последняя стадия, а просто начало нового зигзага, который был не чем иным, как просто протестом Петрова против однообразия супружества. И ничто другое не заставляло Петрова так метаться. Просто ему в один прекрасный день становилось скучно. Иногда он откуда-то доставал и приносил какие-то безграмотно перепечатанные и перепечатанные лекции и медицинские советы, в сущности, чистейшую порнографию. Мы читали это вслух при Севке с Раисой, но надо сказать, что на них это не производило должного впечатления. Они вежливо слушали, но им это было безразлично, как если бы мы вдруг взялись читать вслух советы больным атеросклерозом. Хотя нас с Петровым эти лекции ужасно, до красноты, смешили. И для нас начинался тоже некий зигзаг, но он бывал очень непродолжительным и совершенно лишенным того полного душевного умиротворения, которое наступало в тот вечер, когда Петров возвращался в лоно семьи.

Так вот, я в расчете на то, что Петров сам собой вернется обратно и на этот раз, не обращала внимания ни на что — ни на поздние возвращения, ни на то, что Петров совсем забросил Сашу и перестал учить его читать. Но через некоторое время сосед по квартире сказал мне, что всю эту неделю, когда я работала в вечернюю смену, Петров приводил к нам какую-то высокую, полную девушку и уводил ее только перед моим приходом. В эти вечера и Саши не было дома — мама забирала его из детского сада и увозила к себе на Нагорную, так что комната была свободна.

Я тут же позвонила маме и попросила ее в виде исключения посидеть с Сашей этот вечер у нас дома, уложить его и подождать моего прихода. Мама не хотела, потому что у нее на Нагорной было много работы, мой старший брат буквально бросил ей на шею своего ребенка, Ниночку. Но я уговорила маму помочь мне — пускай брат обойдется в этот вечер без нее. Не помню, что я там наговаривала на своего брата, чтобы только улестить маму и заставить ее приехать ко мне. Мама ничего не знала о зигзагах Петрова, а если бы узнала, она бы немедленно развела нас. Поэтому я ей ничего не говорила, и у нее были довольно хорошие отношения с Петровым.

Как я и рассчитывала, в тот вечер Петров опять привел Надежду, и они наткнулись на мою маму. У них там что-то произошло, у мамы с Надеждой. Потому что, я повторяю, война шла не у нас с Петровым, а у нас с Надеждой. И это был мой расчет, что Надежда окажется слабой и при виде разъяренной тещи Петрова и при виде плачущего ребенка отступит.

Может быть, она и отступила. Но не Петров. Он вообще не пришел в эту ночь домой, и похоже стало, что в конце концов он так и не вернется. Несколько раз он приходил домой — за бритвой, за носками и рубашками, потом за магнитофоном. Он одичал, вытянулся и внезапно стал похож на того милого мальчишку, который до потери сознания любил меня когда-то.

Я ему ни слова не говорила, без звука отдала магнитофон и все, что он хотел, а он вел себя строптиво, как будто в уме заранее отвечая на незаданные вопросы. Но я молчала, хотя уже видно было, что и никаким благородством его не вернешь.

Тут я поняла, что теряю все, весь мир. Только Раиса еще оставалась со мной по эту сторону, а весь мир был по другую. Мама, напуганная неожиданным результатом своего вмешательства, была рассержена на меня за эту подстроенную встречу. Саша? Я женщина трезвая. Я понимаю, что детская привязанность и любовь не направлены на родителей как на конкретных людей. Любое другое сочетание лица, фигуры, цвета волос, характера, ума он с такой же силой полюбил бы. Он любил бы меня, если бы я была убийцей, великой скрипачкой, продавцом магазина, проституткой, святой. Но это только до поры, пока он сосет из меня свою жизнь. Потом, все так же безразличный ко мне как к человеку, он уйдет. Это сознание его близкой измены каждый раз обескураживало меня, когда я наклонялась обнять его, уже вымытого и лежащего в полутьме на своей диван-кровати. Может быть, этим своим чувством я была обязана Петрову, приучившему меня ожидать измены.

Мама тоже уже не любила меня. Да она никогда и не любила меня как человека, а только как свое порождение, свою плоть и кровь. Теперь, на старости лет, она была болезненно привязана к Саше и к другой своей внучке — Ниночке. А я, и Петров, и старший брат мой, и его жена были уже для нее безразличны — просто родные.

Я пошла к Раисе и рассказала ей все. У меня, как видно, есть уже опыт в таких рассказах. Я рассказываю своим девочкам в институте, рассказываю даже случайным знакомым женщинам вроде тех, с которыми вместе валяешься три дня в роддоме после аборта. Но Раисе я рассказала не так. Раиса действительно поняла, что она у меня на свете одна. Что здесь речь уже идет не о зигзаге, а о потере жилья для меня и для Саши, о потере надежды на двухкомнатную квартиру, о которой я так страстно мечтала и которая мне даже снилась. Сколько раз в наши ночные разговоры мы с Петровым обставляли ее мебелью! Петров хотел сам расписать стену в кухне, как Сикейрос, одной громадной фреской, хотел расписать даже белый эмалированный поддон от газовой плиты, хотел расписать холодильник. Это все были мечты, хотя мой Петров неплохо рисует перышком, срисовывает из журналов портреты знаменитых джазменов, вставляет их в черные багетики и вешает по стенам. Петров может вести партию фоно в джазе, несколько лет он выступал в самодеятельности в клубе «Победа», пока не почувствовал себя старым для всех этих смотров самодеятельности, для поездок в автобусах по подшефным колхозам, для принудительного аккомпанирования участникам класса сольного пения. Петров освоил и перкаши, и немного контрабас. И несколько раз он пел в сопровождении своего квартета — рояль, гитара, контрабас, ударник — английскую песню «Шейкохэм» — так она, кажется, произносилась. Но никто не оценил его простой, без хрипотцы и оттенков, голос, его безупречный английский выговор. Он пел не как говорил, в этом ведь тоже есть искусственность. Он пел просто, громко, деревянно, монотонно, но в этом было столько прямоты, столько мужской искренности, беззащитности. Он пел, весь напрягшись, как струна, и немного вздрагивал в ритме песни. Я его слушала один только раз, когда Саше было два месяца. Мне было не до Петрова в тот вечер, молоко прямо-таки раздавливало мою грудь, стояло во всех долечках, и грудь чувствовалась как деревянная, граненая. Я нервничала, бесилась, чувствовала, что Саша хочет есть, а номер Петрова, как всегда, был в самом конце программы. И вот, наконец, он со своими ребятами вышел на сцену, они катили рояль, а он нес маленький микрофон, новинку. Долго ударник устанавливал свои перкаши, потом они сыграли Чемберлена, мягкий вальсок, потом, наконец, «Шейкохэм».

Петров пел, подрагивая в такт всем своим длинным телом, и я немного даже заслушалась его, но молоко вступило в грудь, и я поняла, что надо бежать к Саше, он сейчас кричит и требует свое. И я встала, хотя песня еще не кончилась, обернулась спиной к Петрову и побежала из зала. Мне было не до Петрова, как мне и сейчас не до него, потому что все во мне занял Саша, как тогда молоко заняло всю мою грудь, оставив только перегородки. И я до сих пор не знаю, как пережил Петров мое бегство из зрительного зала, и хлопали ли ему так, как он этого заслуживал,— я его не спрашивала, он мне не рассказывал. Я ему так и не объяснила ничего, мы вообще в то время мало с ним разговаривали.

Не знаю зачем, я все это рассказывала Раисе. Я плакала перед ней, как будто она одна могла меня спасти. Я не знала, чем мне вернуть Петрова. Не только квартира — мечта моя — рушилась, но и возникал грозный призрак Сашиной безотцовщины, а это самая худшая рана для меня, и, может быть, именно поэтому я так и цеплялась все время за Петрова. Я стану матерью-одиночкой, Саша будет тосковать по мужской руке и уйдет от меня, как только первый встречный товарищ поманит его. Он пойдет за любыми брюками, изголодавшись по мужскому слову и обращению, он пойдет и в шайку, и в колонию.

Я плакала перед Раисой, а она сидела как каменная в своей позе на краю тахты. При слове «колония» она даже не вздрогнула.

Но наутро я уже просохла. Мне вдруг стало казаться, что у Петрова это очередной зигзаг, потому что он любит не Надежду и между нами не было ничего плохого, ни ссоры, ни разговоров, ведь это только моя мама с ним поссорилась, а моя мама — это же не я. И когда я шла на работу, у меня возникла вдруг шалая мысль пойти и поговорить с Надеждой. Но потом я это оставила. Ее можно стронуть с места только хорошим для нее, только заботой о ней и добротой, а что хорошего я могла ей предложить? Только-только она преклонила голову на моего Петрова — и чтобы она подобру ушла от него? Она меня даже не поймет.

Но главное было не это — главное было уговорить Петрова, чтобы он хотя бы фиктивно вернулся к нам. Пусть ходит где хочет, но чтобы Саша его видел. А как это предложить Петрову, ведь сам он на это не пойдет и по моей просьбе тоже.

Я пошла к Раисе и попросила ее поговорить с Петровым по телефону. Так, мол, и так, что-то тебя давно не видно, зашел бы, поговорили — такой вариант разговора, простой и непритязательный, я ей предложила. Она согласилась. Но она согласилась как-то испуганно. Я, правда, на это не обратила внимания.

Вечером я зашла к Раисе. Она лежала на тахте и курила. Она сказала мне, что поговорила с Петровым. Что он завтра вернется. Вот и все, что она мне сказала, а потом вдруг по своему обыкновению начала плакать. Я принесла ей с кухни стакан воды и побежала за Сашей в детский сад.

Назавтра Петров вернулся с портфелем и магнитофоном. В портфеле у него лежали комом две рубашки и носки в газете. У нас было чисто, уютно, мы завтракали втроем. Саша тянулся к газете Петрова и спрашивал, где какая буковка.

Правда, конца зигзагу не было видно. Петров не замечал меня, мало бывал дома. Но это было лучше, чем полное отсутствие.

За делами я как-то не успевала заходить к Раисе. И необходимости такой у меня в этом не было. Все поглотил дом. У Петрова скоро должен был решаться вопрос с квартирой. Я бегала, записывалась на гарнитур, стояла в очереди.

Петров уже начал поглядывать на меня вопросительно, смотрел с явным удовольствием, как я летаю из кухни в комнату, как разговариваю с Сашей. Перед ужином Петров ушел, ни слова не говоря, и вернулся с бутылкой полусладкого шампанского.

Он сказал:

— Выпьешь со мной?

И я побежала на кухню за фужерами из чешского стекла.

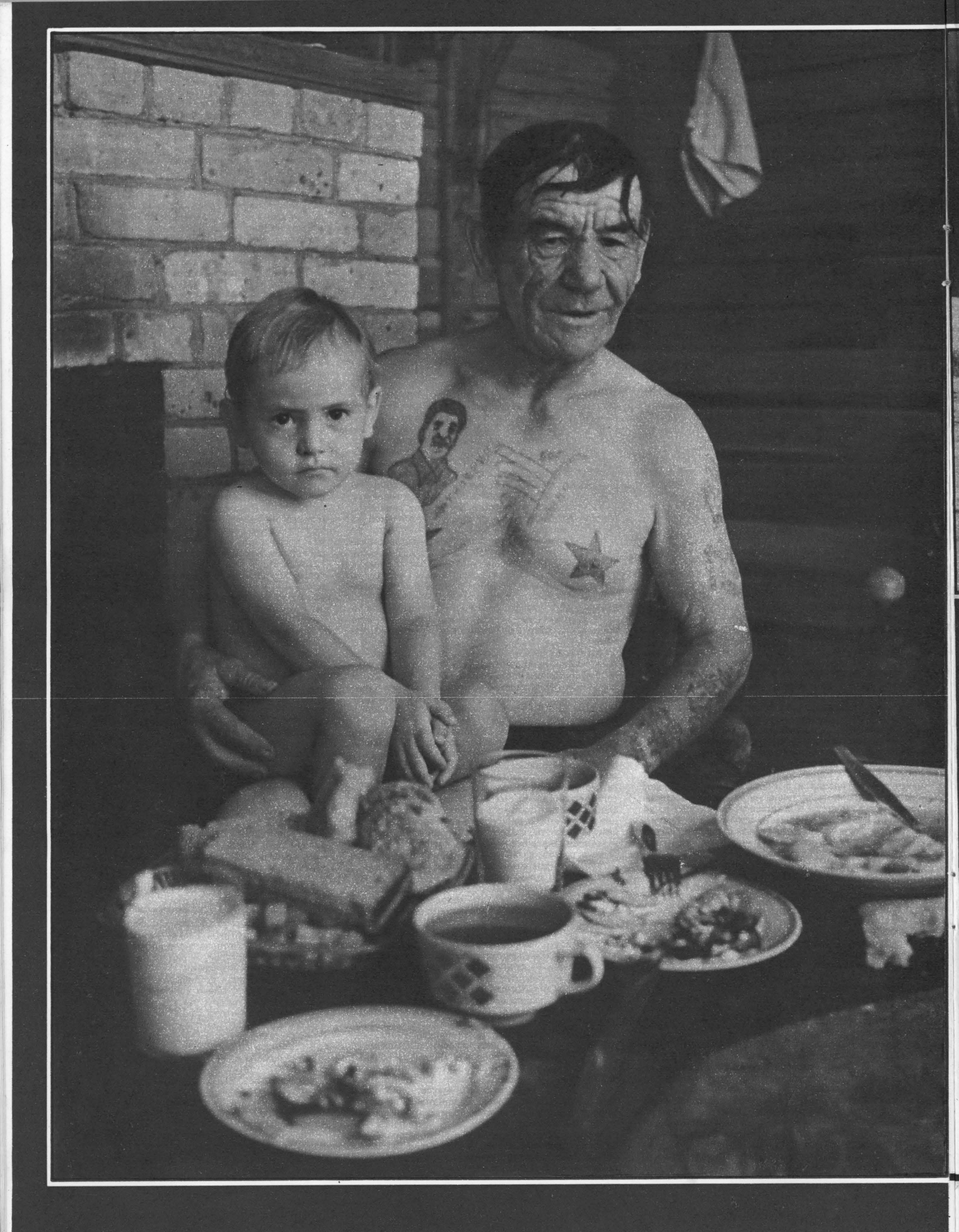
Мы чокнулись. Я шутливо сказала:

— За Раису. За нашего доброго гения.

А Петров ухмыльнулся и как-то зло сказал, что правильно ребята говорили: она действительно стенка стенкой.

Тут только я обо всем догадалась и пожалела, что Раиса так меня предала.

И она перестала для меня существовать, как будто она умерла.



ФОТОКОНКУРС

Земля у нас одна

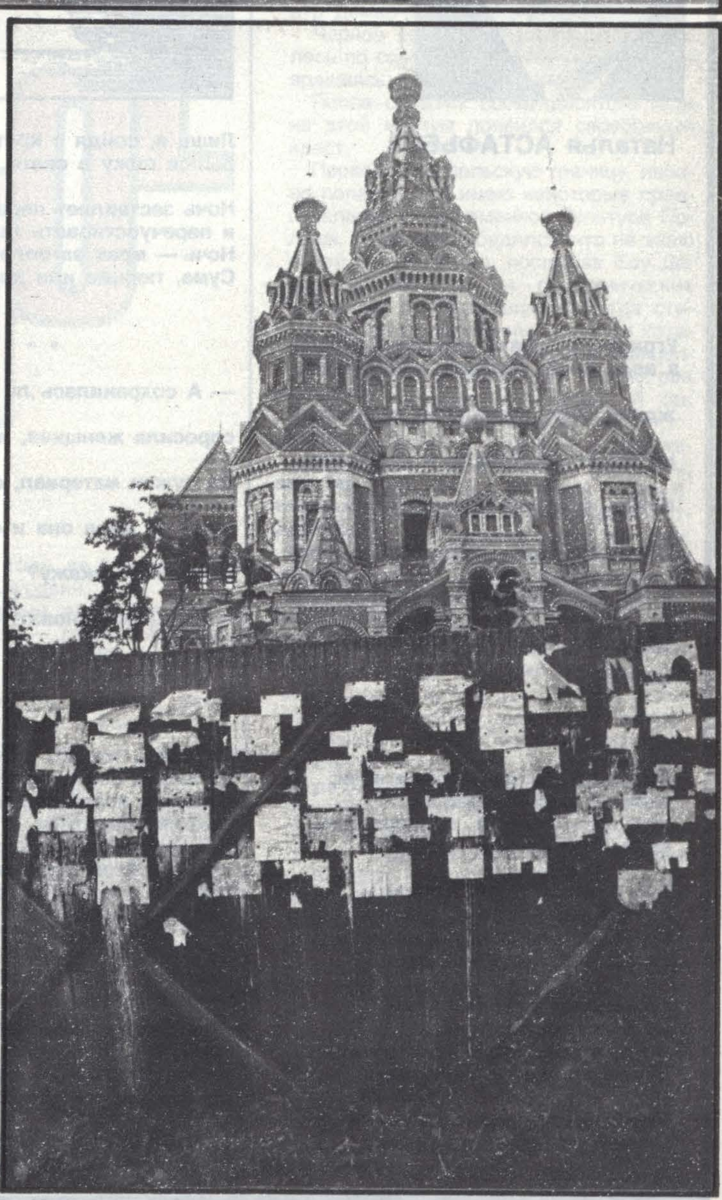
● Живи и помни.
Фото Геннадия Попова (Москва).

● «Противостояние».
Фото Андрея Кудрявцева (Омск).

● Современницы.
Фото Тофика Шахвердиева (Москва).

● Меняем...
Фото Евгения Епанчинцева (Чита).





ОБЛОМКИ КОРАБЛЕКРУШЕНИЙ

При чтении стихов Натальи Астафьевой меня не покидало чувство сопереживания. Я абсолютно ясно видел, как Астафьева писала эти стихи, как невыносимо трудно было ей вспоминать, как тяжко было возвращаться в прошлое, переживать все заново. Но она выстояла, смогла. Ибо труд этот был ее долгом, ее судьбой, ее жизнью. Еще и поэтому многие стихи сразу останавливают, с ними трудно расстаться, они потрясают в самом буквальном смысле этого слова.

Порою они похожи на дневник — все в них буднично, обыкновенно. Но это — будничность трагедии, обыкновенность боли. А иногда строки напоминают записи в истории болезни. Только это — история болезни времени, история болезни той самой эпохи, в которой нам довелось жить.

А еще в рукописи несмотря ни на что есть вера. Вера в человека. Вера в беззаветную честность отца. И это несмотря на трагичность самих стихов...

Р. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ



Наталья АСТАФЬЕВА

* * *

Угрюма, угловата, обуглена дотла,
а ведь была красива, наполненна,
светла,
ждала тебя, звенела на радостной
струне,
но что-то заржавело и сломлено
во мне.
Нужны большие крылья, чтобы меня
поднять.
Раскроешь руки шире, чтобы меня
обнять.
А я? А я сжимаюсь и горестно
молчу.
Беда моя большая тебе не по плечу.

1957

* * *

Когда проснешься среди ночи,
охватит ужас и тревога.
Что, ночь-цыганка, напророчишь —
сума, тюрьма или дорога?

Что позади? Одни потери.
А впереди — темно, туманно.
Легко ль надеяться и верить?
Погиб отец, погибла мама.

Дождались реабилитаций
их отлетающие тени.
Но я, чтоб с ними повстречаться,
прошу свиданий-сновидений.

Проснешься среди ночи — пусто.
Их нет, их даже вспомнить
не с кем.

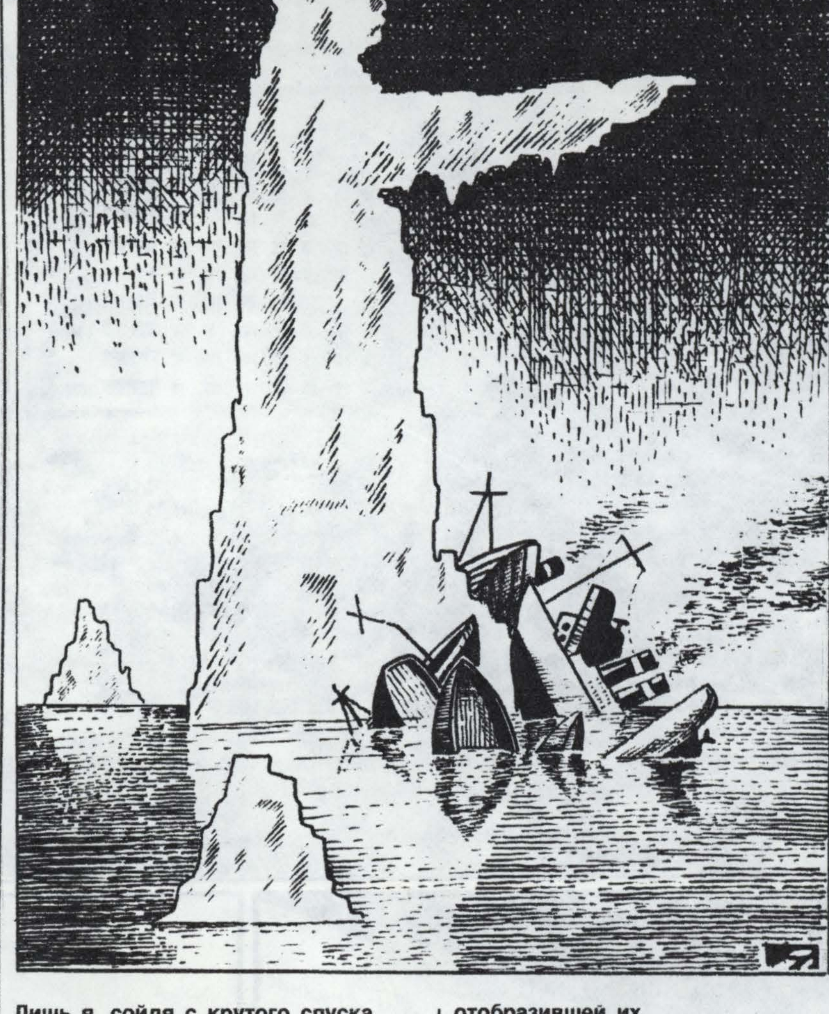


Рисунок Алексея МЕРИНОВА

Лишь я, сойдя с крутого спуска,
былое вижу в свете резком.

Ночь заставляет передумать
и перечувствовать так много...
Ночь — мрак затопленного трюма.
Сума, тюрьма или дорога.

* * *

— А сохранилась ли его
библиотека? —
спросила женщина, историк,
кандидат.
Ей нужен материал, ей предстоит
доклад,
ждет от меня она и сведений,
и дат.
А что я ей скажу?
— Отец не виноват!
— Отец не виноват! — кричу
уже полвека.

* * *

Остались только слабые следы
от жизни бестревожной детской,
обломки кораблекрушений,
осколки бедствий,
два-три растрепанных пера,
скелет сухой морской звезды,
орешек золоченый грецкий,
язык немецкий.

* * *

Двенадцать выпускниц
гимназии Савицкой,
двенадцать юных лиц
провинции российской.

Сквозит в них светлый лик
Комиссаржевской Веры,
отобразившей их
без фальши, без манеры.

Иных уж скоро ждут
супружеские узы,
иных — учеба, труд,
Бестужевские курсы,

а может быть, и тот
порог, перед которым
уже который год
стоит с открытым взором

отважнейшая часть,
та, что готова к жертве,
тюрьмы не устрашась
и даже самой смерти.

Гляжу в двенадцать лиц
с волнением и верой...
Фотограф Штейнберг, Двинск,
начало нашей эры.

Запечатлен лишь миг,
но он и есть нетленность,
а лица молодых —
не высшая ли ценность?

Не ими ли цвело
и отцветало время?
И лучшего всего —
в них олицетворенье.

* * *

Я повернулась, поскользнулась,
и вдруг душа во мне очнулась,
в пространстве крылья простирая:
вцепив кривые коготки,
вишу под крышею сарая,
достаньте — руки коротки!

Вишу большой летучей мышью.
Чуть ночь опустится, меж рам
я в комнату проникну к вам
и слушаю, как дети дышат.

Шуршу, пищу, скребусь под крышей,
страшу, мешаю вашим снам...
Но дети спят и сладко дышат...
Взгляну на спящих ребятишек —
и слезы льются по щекам.

* * *

Зашел охранник, молодой казах,
будто случайный с улицы прохожий,
и, нам о матери порассказав,
сказал, что человек она хороший.
А мы давно не знали, как она.
Не знали ничего: жива ли, нет ли.
Он рассказал нам, что была больна,
но поправляется.
С улыбкой светлой
глядел на нас...
И если говорят
мне что-нибудь дурное о казахах,
я вспоминаю то лицо, тот взгляд
и весь тот край, где я и
младший брат
сиротствовали столько лет
подряд...
Иртыш и степь, ее полынный запах.

В ДЕТПРИЕМНИКЕ

Юрке — десять, мне было почти
что пятнадцать,
с мамой мы не могли и представить
разлуку
и просились к ней,
и потому так пристрастно
две недели разглядывали нас,
как в лупу.

Были там ребятишки от года
и старше,
все такие домашние теплые крохи,
а по ним убивались их матери
страшно,
разнесчастные женщины,
жертвы эпохи.

Мы, девчонки, малышек чужих
одевали
и кормили из ложечки нежно,
как кукол...
Позже матери их отыскали едва ли,
если вышли из тюрем и стали
аукать.

Из детдома, наверно, их брали
охотно,
тех фарфоровых, ангельских,
сладких детишек...
Под чужими фамилиями
бесповоротно
затерялись... Как мать ни аукай —
не слышат.

* * *

И стягивали до отказа,
и сдавливали до предела...
Но все равно —
не для показа
душа,
как колокол, гудела.
И глаза красный уголок,
как флаг спасенный,
как платок,
нашейный, близкий, кумачовый,
косил на страшные оковы...
Оков нелепых этих звон,
когда безмолвствовал закон,
когда тупое подозренье
отращивало оперенье...
Ты мог подумать ли в тот год,
что величальных позолот
осыплется,
темнея,
краска?
Что царства в пропасти летят.
Что имена меняют склад.
И наступают дни огласки.



Анатолий ГОЛОВКОВ
Фото автора

«Пусть мне дороги друзья и истина, однако долг повелевает отдать предпочтение истине».
Аристотель
«Никомахова этика».

ЗЕРКАЛО

Целый месяц мне довелось работать корреспондентом влиятельного польского еженедельника «Политика», который во многом напоминает нашу «Литгазету». Работать среди профессионалов высокого класса, таких, как Даниель Пассент, Ежи Клер, Марек Островский, Богдан Гуральчик, Яцек Попшечко... Возглавляет «Политику» Ян Бияк. Польские коллеги знакомили меня с разными людьми, устраивали встречи. Пожалуй, одной из самых интересных была беседа с директором Центра изучения общественного мнения полковником Станиславом Квятковским.

Судьба полковника, который до этого служил в Войске Польском, круто повернулась в начале восьмидесятых. Его, коммуниста, отозвали из отпуска: партия поручила ему возглавить социологическую службу.

— Опыт социализма показывает, что прежние источники информации, которыми пользовались власти, не давали правдивой картины,— сказал товарищ Квятковский.— Нынче же без изучения общественного мнения полнокровная демократия невозможна. В социологии, как в зеркале, отражаются настроения людей... Мне кажется, наш Центральный Комитет сделал мужественный шаг, создав Центр. Хотя бы потому, что властям бывает и не совсем приятно читать наши отчеты. Но по-другому, если мы хотим построить гуманный, демократический социализм, нельзя: наверху должны точно знать о том, что думают внизу. Это и есть гласность. Привыкали к ней трудно даже наши сотрудники. Получив какие-то ошеломляющие результаты, прибегали ко мне в кабинет: «Как об этом написать?» «По-польски»,— отвечал я им. А сюрпризов было немало.

Например, анонимные опросы групп от 500 до 1500 человек самых разных возрастов, профессий и убеждений показали, что в Польше идет процесс размывания привычных классовых границ. Сегодня у нас слово «интеллигенция» социологам ничего не объясняет. «Крестьяне» тоже: среди них есть середняки и миллионеры. В той же степени и понятие «рабочие»... Все оказалось намного сложнее, чем мы думали. Сфера наших интересов — те социальные слои, которые активнее других реагируют на политические перемены. Выяснилось, что отзывчивее других в этом смысле молодежь, в основном из числа технической интеллигенции. Это настоящий «детонатор».

В начале восьмидесятых именно тридцатилетние по результатам исследований стали опорой для «Солидарности». Возмужав, они перестали активно интересоваться политикой, и число сторонников бывшей «Солидарности» сильно поубавилось. Многие из тридцатилетних навсегда уехали за рубеж, некоторые занялись частным предпринимательством в Польше — так они реализуют теперь свою энергию. Государственный сектор экономики их мало интересует. А жаль! На более решительном этапе экономической реформы стране очень пригодились бы их руки, их труд, их талант... К сожалению, то же самое повторяется с нынешним поколением двадцатилетних, что явилось и для Центра неожиданностью. Теперь это самая активная часть общества, как показали весенние и летние забастовки...

Товарищ Квятковский познакомил с некоторыми результатами из отчетов Центра. 40 процентов опрошенных считают, что перестройка может дать положительные результаты в Польше. На вопрос «Кто тормозит перестройку?» 19 процентов опрашиваемых ответили, что мешают сами власти, 14 — общество, 6 — оппозиция, 26 — воздержались от определенного мнения. Более 70 процентов поляков считают СССР дружественной страной и что Польша и в дальнейшем должна участвовать в Варшавском Договоре. На вопрос «Какая из держав сделала больше для укрепления мира?» 60 процентов ответили, что это СССР, 5,4 процента — США. 45,7 процента поляков называют М. С. Горбачева самым популярным из лидеров современного мира (на втором месте папа римский — 29,7 процента). «Учитывая, что Польша — католическая страна,— заметил по этому поводу представитель правительства ПНР по печати Ежи Урбан,— а папа к тому же поляк по происхождению, следует признать, что популярность советского руководителя — факт беспрецедентный».

— Изучением общественного мнения,— продолжал полковник Квятковский,— занимаются многие общественные организации в Польше. Но в таком объеме, как мы,— никто. Наш Центр подчиняется политическому руководству страны. Оппозиция хвастает, что ее исследования объективней... А мне кажется, «объективней» в той степени, в которой ими интересуется западная пропаганда.

ДВА МНЕНИЯ НА ОДНОЙ УЛИЦЕ

Ну, насчет «мнений» — это как бы игра слов. Дело в том, что в старинном Кракове, красоты которого можно описывать бесконечно, на одной узенькой улице неподалеку от площади Рынек Глувны, расположились две противоположные по позициям редакции — журнала «Здане» («Мнение» в переводе на русский) и католического общественно-культурного еженедельника «Тыгодник повшехны». Два человека, встречаясь по утрам, раскланиваются на этой улице: возглавляющий «Здане» профессор Мариан Стемпень и главный редактор еженедельника почтенный Ежи Турович. И журнал, и газета раскупаются в мгновение ока.

Сотрудники конкурирующих фирм посматривают друг на друга косо, во всяком случае, предпочитают совместных чаепитий не устраивать.

«Здане» служит трибуной краковской интеллигенции. Там не пугаются напечатать, скажем, беседу с известным ученым под рубрикой «Трое на одного». Действует популярный дискуссионный политический клуб «Кузница», между молотом и наковальней которого считают за честь оказаться и министр, и партийный работник, и заезжий иностранец. «Здане» — журнал, остающийся на марксистских, прореформаторских позициях, ему небезразличны судьбы социализма.

«Тыгодник повшехны» не является официальным органом римско-католической церкви в Польше, хотя его редколлегию составляют верующие католики. С момента основания газеты, то есть сорок три года, ее бессменно возглавляет Ежи Турович.

— За это время еженедельник закрывали дважды,— рассказывал он.— Первый раз в марте 1953 года, когда мы отказались печатать материалы, оплакивающие смерть Сталина. Второй раз — в 1980 году... Главная наша тема — жизнь человека, его духовные искания. Публикуем статьи по истории, философии, литературе. Приходится вести постоянную войну с цензурой... Как и «Здане», мы считаем своими читателями польскую интеллигенцию.

Та ее часть,— продолжал пан Турович,— которая называет себя демократической оппозицией, убеждена, что и в правящей партии существуют два крыла — консервативное и демократическое. Правда, во время кризисов «крылья» немедленно объединяются. Но и среди так называемой демократической оппозиции в среде интеллигенции нет согласия. Одни считают, что с официальными кругами в Польше можно договориться. Другие не видят ни одного шанса на справедливый диалог без плюрализма мнений. Да и сами власти, признаться, не идут на искренний разговор с нами. Наша политическая концепция — надежда на большую демократизацию и плюрализм мнений, на активное участие всего общества в политической жизни...

«Тыгодник повшехны» обеспокоен также процессом миграции молодых поляков. Ссылаясь на краковский еженедельник, Польское агентство Интерпресс цитирует разработку общественного совета при примасе, опубликованную в «Тыгоднике повшехны»: «Выезды на постоянное место жительства за рубеж молодых, активных людей, специалистов высокой квалификации ослабляют национальный потенциал, уменьшая тем самым возможности изменения к лучшему нашей действительности. Эмиграция представляет также фактор, ослабляющий надежды тех, которые остаются, уменьшающий общественный нажим на проведение системной реформы в Польше... Иллюзией было бы считать, что поляки могут оказывать значительное влияние на судьбы родины из-за рубежа».

«А МОЖЕТ, СНОВА НАМ В ТОМАШОВ...»

Гданьск начался для меня с Евы Демарчик, колдовства ее песен, глубокой тишины и слез переполненного зала... Ее первую пластинку, выпущенную для Советского Союза, мы слушали еще в начале семидесятых. Ева пела на стихи Мандельштама, Цветаевой, Тувима... Она вошла в нашу студенческую юность вместе с городскими романсами Булата Окуджавы, политическими балладами Александра Галича. Печальное и дерзкое искусство «черной звезды польской эстрады», как тогда называли Еву, несло веру в свет.

И вот теперь довелось увидеть «театр Демарчик».

Черное ее платье то яростно металось по сцене, то вдруг замирало, превращаясь в мантию.

После событий восьмидесятого года на этой мантии появился серебряный крест.

Пересекал я польскую границу, наивно полагая, что имею некоторые представления о современной культуре Польши. Но быстро убедился, что не знаю о ней почти ничего, послушав Еву Демарчик, побывав на симфонических концертах К. Пендерецкого, когда стены собора св. Катерины будто бы хотели раздвинуться под мощными крещендо «Польского реквиема», посмотрев пьесы в постановке А. Вайды. И так много общих, похожих проблем...

Разговаривал в Варшаве с сорокалетним режиссером Янушем Заорским, а вспоминал нашего Алексея Германа.

Януш уже снял несколько картин, отмеченных международными призами, когда вдруг запретили показывать его новую работу — «Мать Королей». О чем она? Короли — сыновья простой польской женщины Магды Король. На судьбы этих людей, как на веретено, «наматывалась» история Польши. Сыновья росли, вступали в партию, втягивались в политику, верили в предложенные им идеалы, подвергались пыткам во времена сталинских репрессий... Януш рассказывал, что фильм пять лет пролежал на полке, до прошлого года, пока не получил приз в Западном Берлине... Поразительно похожая история произошла с мудрыми фильмами Германа «Проверка на дорогах» («Операция «Новый год») и «Мой друг Иван Лапшин»... Алексей и Януш незнакомы. Но обоим дано проникать в тонкие связи мира, создавать космические объемы на мизерном пространстве. Оба создают ленты, оголенные, как провода под напряжением, несущие правду, и вызывают злобную ненависть бюрократов.

...Ах, пани Ева, а может, и вправду сбежать в Томашов, как советуете вы в своей песне? Хоть на часок, махнуть

на все рукой... И городок-то, говорят, не самый красивый в Польше, неказистый, сероватый, а почему б не собраться там однажды, на этом пространстве, напоминающем российский райцентр, и вам, и Герману, и Заорскому, и Битову, и Окуджаве, наговориться всласть?.. Но будто вижу: вместо ответа печально качаете вы головою. И снова выходите на сцену в резко очерченный светом круг, словно за этим кругом нет ничего, кроме неспетых песен. И годы уходят. И столько душ нужно еще излечить от тягостных сомнений...

ВЕТЕР С ГДАНЬСКОЙ СУДОВЕРФИ



«Рекламированные правительством перемены ни в чем не меняют существа недавно прошедших выборов в Советы, если иметь в виду создание структуры, в которую входят лишь люди, лояльные к центру».

(Из листовки «Солидарности» от 10 июля 1988 г.)

В этот день после воскресного богослужения в костеле св. Бригиды толпа верующих, главным образом рабочих судоверфи, перешла в тесноватый двор храма. Появился микрофон. Затем в сопровождении охраны на крыльцо дома ксендза вышли улыбающиеся люди.

За толстыми стенами двора, где-то рядом в узких гданьских переулках, стояли наготове милицейские машины, прогуливались сердитые молодые люди в форме.

Валенса произнес краткую речь. «Нема вольносчи без солидарносчи!» — дружно скандировала в ответ толпа, подняв вверх растопыренные пальцы («Нет свободы без солидарности!»). Кто-то под шумок крикнул: «Бей красных!» — однако призыв успеха не имел.

Я смотрел на располневшего, поседевшего Валенсу и пытался понять, о чем думается в эту минуту ему, лидеру бывшей «Солидарности». Почему потерявшая огромное число своих сторонников «Солидарность» оказалась в еще более резкой оппозиции к ПОРП и польскому правительству? Почему ее лидеры с трудом принимают иные мнения, настаивая на собственных декларациях, похожих на голые лозунги? И желают ли они считаться с тем очевидным, что произошло на глазах у всей Польши при участии ее народа, на глазах у всего мира: не «Солидарность», не костел, не прочие оппозиционные силы, пусть даже с самыми благими намерениями в отношении будущего своей родины, не кто-нибудь, а именно Польская объединенная рабочая партия во главе с Войцехом Ярузельским вывела страну из тисков кризиса и повела к тому социализму, о котором всегда мечтали лучшие умы Польши...

Но, похоже, что-то меняется и в мышлении Валенсы, который, помня печальный опыт восьмидесятых, высказывает готовность участвовать в диалоге с властями, а в начале осени этого года сумел добиться прекращения забастовок. Нет, решительно не правы те, кто пытается представить политическую ситуацию в Польше в одних только черных или в одних лишь белых тонах. Это подтвердила и встреча с редактором многотиражной газеты «Сточневец» («Судостроитель») Станиславом Кубяком: прохладный-то ветер часто дует именно с Гданьской судоверфи, давнего оплота «Солидарности».

Станислав работает в прессе почти четверть века. Коммунист. Был сотрудником варшавской «Культуры», корреспондентом «Трибуна люду». А потом добровольно перебрался на самую горячую точку Польши.

— Что касается наших рабочих,— рассказывал он,— то на их политическую установку влияет не столько давно уже мифический авторитет «Солидарности», сколько слабая работа партийного комитета. Мне самому очень скоро пришлось испытать на себе конфликт с парткомом судоверфи. Еще до майской забастовки, в начале апреля, мы готовили к спуску на воду судно «Революция». Стал я писать заметку об этом и вдруг узнаю, что «крестной матерью» парохода определили жену секретаря одного из воеводских комитетов партии. «Почему?» — спросил я себя.— Ведь эта женщина никаких заслуг перед Польшей не имеет...» Поскольку уже были прецеденты такого рода, я напечатал заметку под заголовком «Модные жены?».

Кстати, в том же номере на первой полосе мы дали портрет В. И. Ленина — исполнялось 15 лет со дня присвоения верфи его имени. Но не в «партийной кепке», как обычно, а в каске судостроителя. Добрый такой, демократичный рисунок, против которого, думаю, и сам Ильич не возразил бы. И начался скандал. Во-первых, в парткоме мне заявили, что из партии я собираюсь устроить костел, из марксизма-ленинизма — религию, а из вождей — богов. Во-вторых, что оскорбил честную женщину, которая прислала жалобу. Пришлось потом печатать и эту жалобу, и мой саркастический комментарий к ней. На общем партсобрании верфи рабочие поддержали меня, настаивая на том, чтобы «крестная мать» судна избиралась общим голосованием. Руководство молчало.

На мой взгляд, продолжал С. Кубяк, противоборство между рабочими и администрацией отражает более глубинный конфликт между стоящими у власти бюрократами и теми, кто занят в частном секторе. Но что любопытно: и та, и другая сила не прочь спекульнуть на рабочем классе, запутать, заморочить рабочим голову, постараться всеми силами привлечь их для поддержки своих идей. Одни стремятся к этому, чтобы подольше удержаться у власти, другие — чтоб эту власть получить. Как ведут себя в этой ситуации рабочие? Многие считают, что всё против них. И это политически сплачивает. Вот откуда берется на верфи почва для «дестаблишмента» — от слова «дестабилизация».

Каким бы оригинальным ни показалось мнение Станислава Кубяка, лично мне ближе позиция правительственной газеты «Речь Посполита», которая следующим образом трактует современную ситуацию в Польше.

«Политическая жизнь в нашей стране становится необыкновенно интересной»,— пишет в фельетоне «Взаимозависимости» Рышард Война. И далее: «При этом под политикой я понимаю здесь то, что доминирует в ее обиходном понимании: сложную борьбу за власть и внутри власти, борьбу, в которой участвуют, сталкиваются и хотят друг друга перехитрить различные силы, исходящие из различных соображений, выражающие различные интересы... Сетования на то, что еще не видно результатов реформы в виде упорядоченных цепей экономических мероприятий, дающих уже сегодня обществу и отдельным людям... выгоду, являются непониманием смысла процессов, уже высвободившихся в нашем народном хозяйстве, либо попросту демагогией. Если люди, которые представляются как оппозиционная альтернатива или как выразители взглядов отдельных заводских коллективов, с одной стороны, провозглашают необходимость реформы, а с другой — подстрекают к предъявлению требований о повышении заработков, то это трудно назвать по-другому, чем демагогия...»

«Но мы,— продолжает автор,— должны научиться с этим жить! Это также одно из логических следствий рыночной экономики и при социализме. Существование потенциала общественного недовольства будет с этого момента постоянным элементом в нашей политике, элементом, используемым для различных целей. Его будут использовать противники слева и справа, внутренние и внешние. Нет ничего более простого, чем привлечь сегодня людей для протеста под лозунгом «Цены растут, а ничего не меняется к лучшему»...»

КОСТЕЛ СВЯТОГО ИОСИФА

Юные монашки, кормящие голубей в центре Кракова, стайка семинаристов на варшавской улице, священники, мирно беседующие с прихожанами,— все это приметы важнейшей части духовной жизни Польши.

Костел св. Иосифа — на окраине Варшавы. Туда мы пришли по приглашению ксендза Яна Сикорского вместе с заместителем главного редактора «Политики» Яцеком Попшечко.

— На примере нашего костела,— говорил Ян Сикорский,— можно проследить вхождение католической церкви в индустриальное общество. В тридцатых годах здесь стали строить рабочие кварталы и одновременно костел. Мне кажется, что история этого прихода отражает историю взаимосвязи церкви и народа. Во время войны начались аресты, и ксендз Ян Ситник, мой предшественник, был изгнан из храма. При сталинщине, когда были репрессии, они коснулись и ксендза. И так было по всей Польше.

Сталинский строй утверждал коллективизм, ведущий к отрицанию индивидуальности. Мне эта дорога всегда казалась неправильной. Господь не создавал коллектив, он создавал лишь отдельных людей. Немало лет мне с огорчением доводилось наблюдать коллективизм сталинского типа, который ни во что не ставил конкретного человека. При Брежневе лозунг в вашей стране остался прежним: общественные интересы выше личных. А разве общественные интересы не есть сумма отдельных, реализация которых ведет к благоденствию народа? Теперь, когда началась перестройка у вас и у нас, вырабатываются иные взгляды на политическую систему и мораль при социализме.

А у себя в стране мы наблюдаем еще и возвращение многих людей к христианским идеалам. Поляки всегда были проникнуты христианской философией, поэтому в Польше не наблюдалось крайнего национализма. Однако и социализм с его теорией классовой борьбы народ принимал с трудом — ведь его учили, что все люди — братья...

Вы спросите, есть ли такие люди в Польше, которые не принимают костел. После войны, когда через некоторое время у нас утвердилась сталинская модель социализма, пришедшие к власти люди не могли веровать. Особенно армия и милиция. И многие власть имущие стали нападать на католическую веру. По-моему, не столько из-за убеждений, сколько из-за боязни лишиться материальных благ... Были и гонения на некоторых верующих. Кстати, моего родного брата, профессора, преподавателя Военно-морской медицинской академии, выгнали со службы как раз потому, что я ксендз.

В те годы было много трагического и смешного. Например, в 1952 году я поступал на факультет теологии в университет — такие еще существовали. Абитуриентов по очереди вызывали на комиссию и спрашивали: «Зачем вам нужен этот факультет, ведь скоро все равно все костелы закроют?..» Никто не переменил решения. На экзаменах я отвечал по билету, один вопрос которого касался паломничества святого Павла, а другой — произведений Иосифа Сталина... На всякий случай я выучился профессии переплетчика.

Открытость общества — это и его способность к свободным дискуссиям. У себя внутри мы никогда не боялись полемики. В старых храмах сохранилось еще по два амвона, с которых священники вели полемические проповеди, заодно соревнуясь в риторике.

Мы готовы смириться также с тем, что молодые порой отходят от веры из-за того, что в юности им трудно соблюдать моральные заповеди — увлекаются выпивкой, сексом... Зато в зрелом возрасте они чаще всего возвращаются к нам. Причем уже независимо от занимаемого в обществе положения.

Ходит много слухов насчет «несметных богатств» костела. Наш нормальный доход — это пожертвования прихожан. Средств, конечно, не хватает. Мы вот сейчас достраиваем школу с культурным центром и задолжали больше миллиона злотых. Я вынужден часто обращаться к верующим за помощью, хотя, признаться, мне не слишком нравится эта процедура. Иногда с Запада нам жертвуют доллары. Есть, между прочим, аптека с весьма дефицитными лекарствами из западных стран, которые опытные фармацевты из числа верующих распределяют между прихожанами бесплатно. По мере нужды. У нас все на принципе доверия. Заметьте: храм открыт круглые сутки, и его никто не охраняет, за порядком следят сами прихожане...

Объективности ради к рассказу уважаемого Яна Сикорского нужно бы добавить еще вот что. Костел в Польше, конечно, могуществен. Такого количества храмов на тысячу жителей не имеют даже страны традиционно католические, такие, как Италия, Испания. Я видел культурные центры, где для католической молодежи устраивают лекции, дискотеки, встречи. Существуют армейские, тюремные, а также детские костелы. Между прочим, дети во время религиозных праздников получают от некоторых ксендзов царские подарки вроде магнитофона-плейера с наушниками или велосипеда. Некоторые костелы, как храм св. Бригиды в Гданьске, пользуясь традиционной неприкосновенностью своей территории, являются оплотом оппозиционных сил. В некоторых храмах можно купить католическую литературу, открытки, фотографии папы римского, религиозную атрибутику, а кое-где даже электронные наручные часы, сделанные на Тайване или в Гонконге.

* * *

...Сквозь осень восемьдесят восьмого, через Брестский погранпост, где вежливые таможенники справляются насчет оружия или наркотиков, а вагоны «Полонеза» с узкой европейской колеи опускают на российские колеса, улавливает слух далекое слово «Варшава». И город уже не мнится черно-белым, он многоцветен и объемен, как сама Польша, страна свободолюбивых и гордых людей. Над их отчизной развевается бело-красный флаг, который, говорят, символизирует невинную чистоту и кровь, которой заплатила нация за свое выживание. И флаг трепещет под ветром новых реформ и перемен, на перекрестке судеб.

Цвета то разделяются, то сливаются, переплетаясь, как дымы некогда созданной могучей индустрии на фоне голубого неба. Они догоняют меня и по сей день, обвивают и жгут; я чувствую их привкус, сопереживая. Там, за кордоном, снова неспокойно... Но там остались мои новые товарищи, ведущие сражение за такой социализм, который навсегда исключил бы попытки подкрасить один цвет флага, который кое-кому кажется недостаточно белым, или полить свежей человеческой кровью другой, чтобы не дай бог не полинял...

И пока мы живы стремлением к правде, а не к бумажной философии в угоду бюрократам, пока умеем расслышать в истинном аккорде фальшивую ноту демагогии — не разрушить выстраданные нами веру в свет и надежду на гуманизм ни тем, кто, видите ли, радуется, что «не возрос на Арбате» и обошло его душу проклятие, ни многочисленным маниловым эпохи перестройки, которым грезится реанимация брежневско-сусловского социализма, ни экстремистам «Солидарности», ни черносотенцам из «Памяти», ни продавцам польских боевых орденов и советских медалей «За освобождение Варшавы» на краковской толкучке, ни ретивым «бизнесменам от политики».

Достанет ли нам мудрости и доброты отличать одно от другого?

Варшава — Москва.



ИЗДАЛЕКА ПОЛЬША
ПОЧЕМУ-ТО ПРЕДСТАВЛЯЛАСЬ
ЧЕРНО-БЕЛОЙ,
СЛОВНО В КАДРАХ
СТАРОЙ КИНОХРОНИКИ:
ПОД СЕРЫМ НЕБОМ 39-го ГОДА
ПОЧТИ ИГРУШЕЧНЫЕ ТАНКИ
УХОДИЛИ С ПАРАДА
В НЕРАВНЫЙ БОЙ...
А ВБЛИЗИ, ЧЕРЕЗ ВРЕМЯ,
ОЖИЛА ПЕРЕД ГЛАЗАМИ СТРАНА
КРАСОЧНАЯ, МНОГОЛИКАЯ.
ПОЛЬША РАДОСТИ И СКОРБИ,
СОМНЕНИЙ И НАДЕЖД.
НЕПРЕДСКАЗУЕМАЯ
И ПРОТИВОРЕЧИВАЯ,
КАК САМА ЖИЗНЬ...

Владимир ПОТРЕСОВ,
Дмитрий ДЕБАБОВ (фото)

КОГДА-ТО О ПУТЕШЕСТВИИ МЕЖДУ ПЕТЕРБУРГОМ И МОСКВОЙ ПИСАЛИ МНОГО, ДА И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЭТО БЫЛО ПУТЕШЕСТВИЕМ. ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА РАСПОЛАГАЛА К РАЗМЫШЛЕНИЯМ, ПУТЕВОМУ ЭПИСТОЛЯРИЮ, ПОКА СОВРЕМЕННЫЙ ТРАНСПОРТ НЕ ПРЕВРАТИЛ ЕЕ В «ДЕЛОВУЮ ПОЕЗДКУ». НЕ НОСТАЛЬГИЯ ПО ДАВНО УШЕДШИМ ВРЕМЕНАМ ОТПРАВИЛА В ПУТЬ.

ВОДОЙ ИЗ ПИТЕРА В МОСК

БОЛЬ ОТЕЧЕСТВА

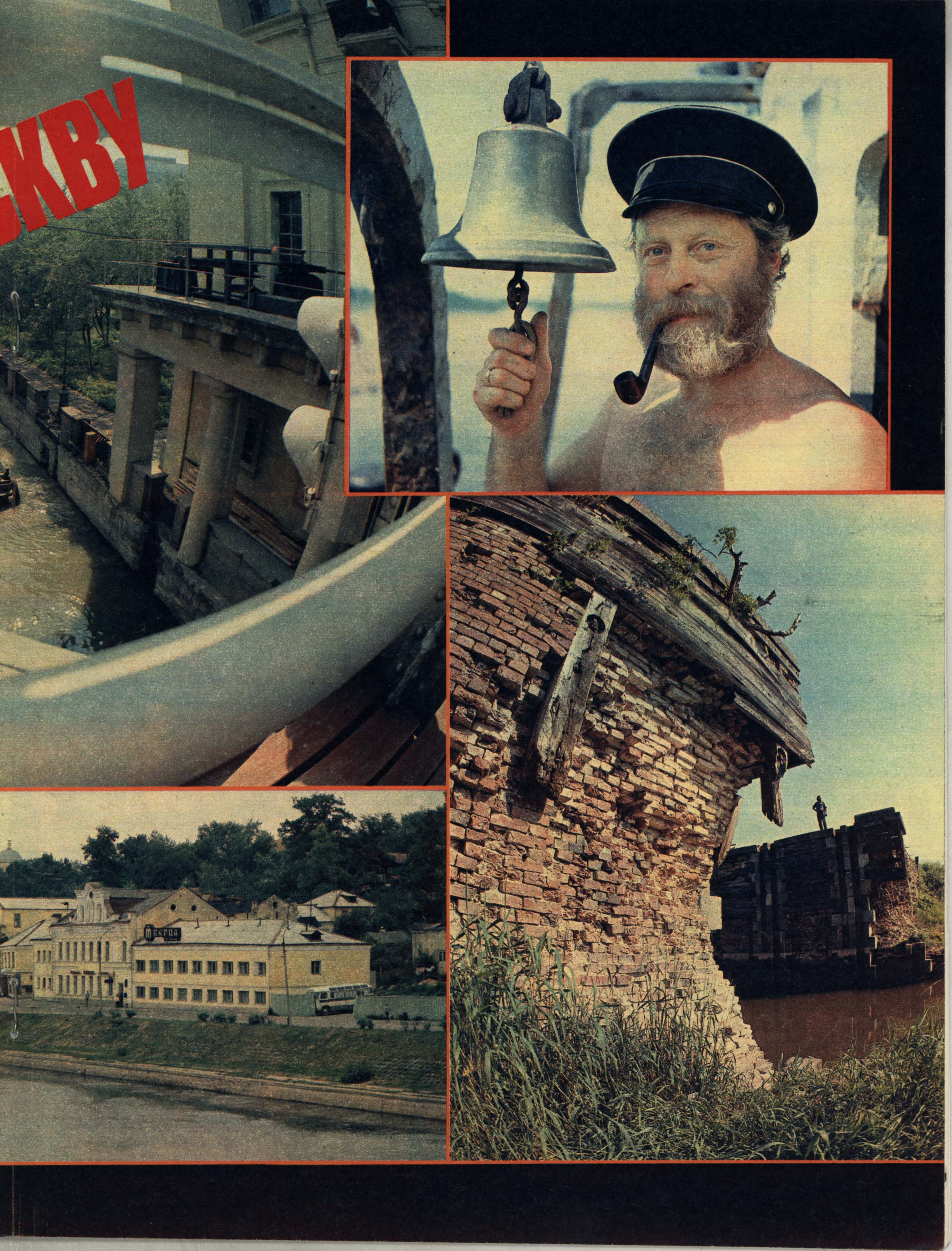
Яузский гидроузел обслуживает сам себя.

Сбудутся ли слова Петра I?

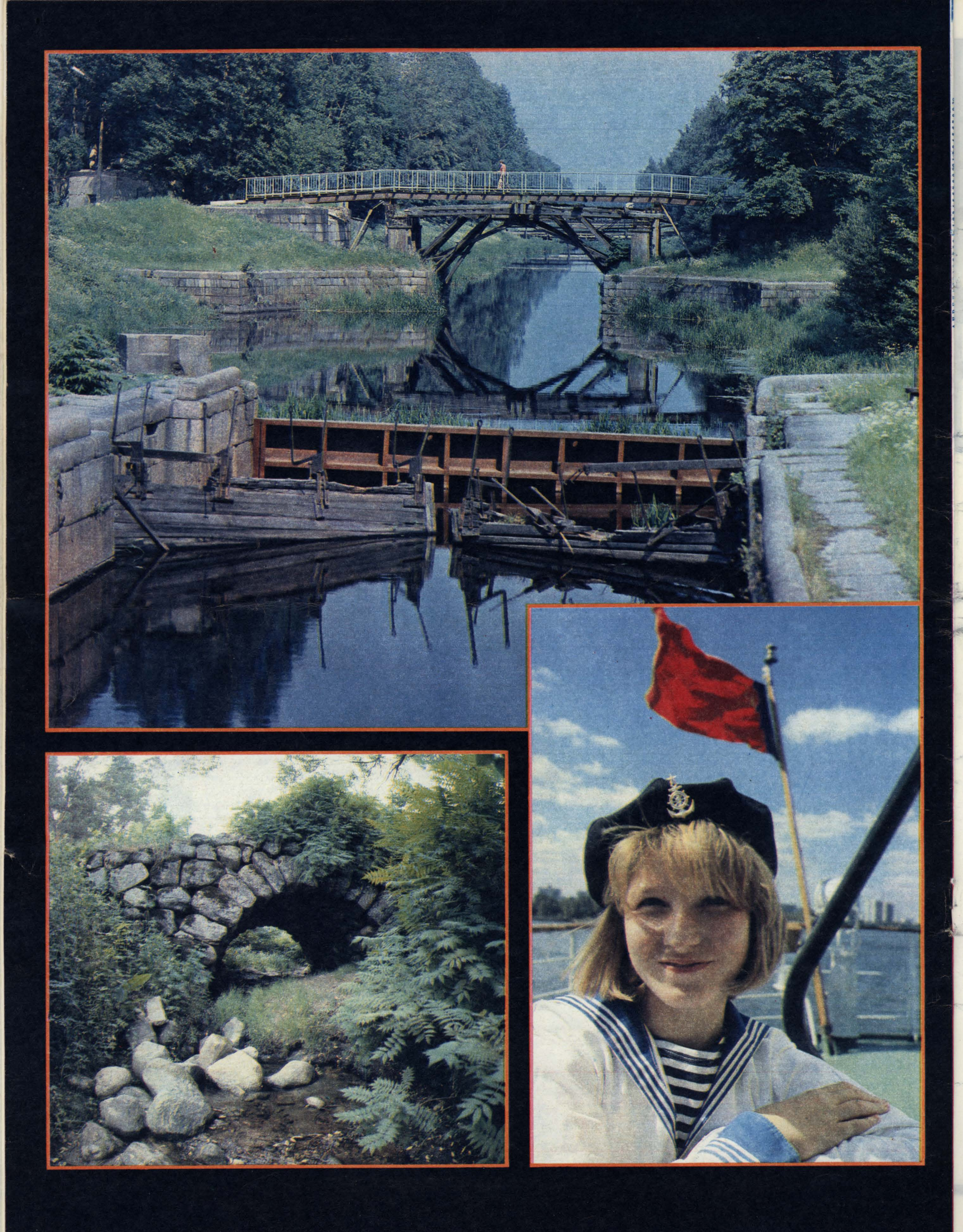


Мы приучились с пренебрежением относиться к отечественной инженерной мысли, этим грешат даже многие радетели старины. И ведь мало кто знает, что Вышневолоцкий водный путь, являвшийся основной частью водного пути из Петербурга в Москву, в конце XVIII века признавался крупнейшей гидротехнической системой Евро-

По ком звонит колокол на Завидовской стоянке?
Набережная в Торжке.
Останки крупнейшей в мире Вышневолоцкой системы. Мстинский канал.



СКВУ
Мерцо



пы, способной в короткое, неустойчивое наше лето пропускать огромное количество грузов. Сложная система «водяного сообщения» России приводила в восхищение иноземцев.

Трудно спорить с техническим прогрессом. Речной транспорт при всей романтичности безнадежно уступает более скоростным и экономичным средствам перевозок, но старинные каналы могли бы оказаться превосходными туристическими маршрутами.

Каналы засыпают «рачительные» хозяйственники, оставшиеся сооружения разбирают на камень. И ежели на стенах старых зданий можно увидеть поржавевшие доски, сообщающие, что памятник «под охраной», то древние инженерные памятники не защищены даже этим эфемерным способом.

ЧЕТЫРЕ ЦАРСКИХ ВАРИАНТА

— Говорят, раньше в Яузе бобры водились,— вздыхает мастер Яузского гидроузла Давид Ефимович Шейнберг.

В камере шлюза на коричневатой, кишевшей, как теплое море медузами, резинотехническими изделиями воде покачивался водолазный катер «Марс».

— Для чего нужен гидроузел? — спрашиваю мастера.

— Чтоб поддерживать в реке уровень воды,— поясняет Шейнберг.— По Генеральному плану реконструкции Москвы 1935 года Яуза должна была стать судоходной рекой до самой Сельскохозяйственной выставки. А на самом деле шлюзуем только катера, которые чистят Яузу. Главная причина некачественной очистки Яузы — ведомственные барьеры.

— Неужели и здесь?

— Возьмите Москву-реку. Она в ведении Минречфлота РСФСР, и на ее очистку направляют специальную технику. А Яуза в ведении Главмосдоруправления. Речники нам не помогают, а у дорожников своих дел невпроворот. Несмотря на огромное количество сбрасываемого в реку вместе со снегом песка, вынуждены очищать ее примитивными средствами. Самое смешное, что Московско-Окское бассейновое управление даже места для выгрузки отходов не дает — выгружаем их нелегально. Нужны новые механизмы,— Шейнберг грустно посмотрел на сооружения гидроузла,— однако дорожники такую технику не выпускают...

Яуза считается родиной русского флота — Петр I опробовал здесь свой знаменитый ботик. Судоходной она была до Мытищ, а там ладьи переволакивались в Клязьму и шли на Волгу. В 1722 году царь повелевает исследовать реки, которыми «способнее зделать от Москвы до Волги судовой ход и где удобнее делать каналы и слюзы...».

В нынешнем парке Дома офицеров, а некогда Головинском саду, можно увидеть полуразвалившуюся беседку с камнем, на котором начертаны слова Петра:

ТРУДЫ МОЕГО МИНИХА СДЕЛАЛИ МЕНЯ ЗДОРОВЫМ. Я НАДЕЮСЬ НЕКОГДА ЕХАТЬ С НИМ ВОДОЮ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ И ВЫЙТИ НА БЕРЕГ В ГОЛОВИНСКОМ САДУ.

Вскоре инженеры-гидрологи предложили царю четыре варианта «коммуникации», каждый из которых предполагал строительство более сотни шлюзов и прокладку десятков верст каналов...

Попытка просмотреть хотя бы один вариант, предложенный петровскими инженерами, с помощью современных карт оказалась обреченной. И дело не только в том, что ряда водных артерий нет и в помине,— яркие нынешние карты отличаются от тех, с «ятями».

Сравнивая старую карту с современной, нетрудно убедиться, что последняя весьма искусно искажает реальную географию.

С помощью старинных карт нашел грязную канаву на окраине Мытищ, где инженеры пытались когда-то проложить «водяную коммуникацию», но это было единственным успехом.

«Сия работа будет зело велика,— писали гидротехники Петру,— и для того хорошо надобно начать и совершить; лучше первая остуда без убытка, нежели последняя с великим убытком».

Петр I внял предостережению инженеров, и о замысле «Преобразователя» вспомнили лишь в 1825 году. В это время приступали к созданию памятника победы России в войне 1812 года — храма Христа Спасителя. Канал нужен был «в видах воспособления» доставки в Москву из соседних губерний строительных материалов, «тяжеловесных произведений» и финляндского гранита для строительства.

Система так и осталась недостроенной, из пяти с лишним миллионов было истрачено всего три.

И хоть через канал, получивший имя «Екатерининский», прошло несколько сотен барок, вряд ли цель оправдала затраченные средства.

КУДА НИ КИНЬ — ВСЮДУ КЛИН

Представьте: вы член садового товарищества, разыграли участки и получили уникальный — с памятником природы или старины. Ваша реакция?..

И иная реакция ваших соседей, причем чем дальше географически, тем нежнее они к вашему памятнику: предлагают, например, объявить ваш участок заповедным или ввести ограниченный режим землепользования...

Так народ на востоке страны борется за сохранение Байкала, Аральского моря, красот Сахалина. Я тоже «за»! Но взгляните вокруг себя, дорогие жители средней полосы, во что мы превратили свои реки, каких дел натворили!

Исходив вдоль и поперек Клинский район Московской области и не найдя там ни одной речки, из которой не то чтоб напиться, искупаться нельзя было бы без опасности для здоровья, понял, что делать интервью со злостным нарушителем норм охраны природы бессмысленно — это мы с вами в силу своих способностей, умения и изобретательности губим все вокруг.

Причем реки страдают в первую очередь. Связано это с их наибольшей уязвимостью: недаром существует выражение «концы в воду». Кто-то слил мазут, рыба в реке передохла, а где искать виновника? Да и искать никто не будет.

А ведь Клин расположен не только на скрещении петербургских дорог — водной, шоссейной и «чугунной»,— стоит он в живописнейшем месте Подмосковья, на Клинско-Дмитровской гряде. Место это, и впрямь неповторимое, связано с именами Блока и Менделеева, Чайковского и Л. Н. Толстого, Фонвизина и Куинджи. Интересно, что инженером по строительству канала служил здесь Н. Н. Загоскин, брат писателя.

Хотелось бы вспомнить тысячу раз высказанную идею о создании на северо-западе от Москвы, на Клинско-Дмитровской гряде, рекреационной зоны, национального парка, который мог бы, подобно ленинградским дворцово-парковым ансамблям, принимать десятки тысяч туристов. Благо и природа еще как-то сохранилась, и исторические памятники, связанные с великими именами, еще не все разрушены.

Хотелось бы, да не буду. Не буду, потому что это пока нереально. В различных кабинетах слушали меня внимательно, не прерывая, но и не скрывая иронии:

— Сев идет, а вы...

Спорил я и на собраниях общественности, где обсуждались проблемы разрушения природы, памятников прошлого. Здесь взрослые люди убеждали друг друга, в основном своих же единомышленников.

— В голове не укладывается...— говорил один оратор.

— Волосы встают дыбом! — вторил другой. Помочь делу могут лишь экономические, «базисные» решения, когда органы Советской власти на местах получат действенный рычаг реальной власти, а не будут бегать на поклон к влиятельным дядям, фактически распоряжающимся богатствами региона.

Но даже когда это произойдет, пройдет не один год, прежде чем обратят они свой взор на памятники истории, природы и культуры,— слишком много задолжали они народу квартир, больниц, детских учреждений...

Что же так мрачно? Да, мрачно, но не безнадежно. Разработаны средства консервации памятников, чтоб дожили они до лучших времен,— стоит недорого, зато есть надежда, что простоит, пока время реставрации не приспеет.

«БЛАЖЕННЫ В ЕДИНОВЛАСТНЫХ ПРАВЛЕНИЯХ ВЕЛЬМОЖИ»

Когда-то Петр I основал в Петербурге яхт-клуб, чтобы прививать россиянам любовь к парусному делу, заставлять бредить их дальними плаваниями. С тех пор у нас появились десятки парусных, а затем и моторных клубов. До поры до времени их не трогали — пусть народ развлекается. Но в середине семидесятых обитатели ведомственных пансионатов, облепивших подмосковные водохранилища, решили: «Непорядок! Моторки мешают полноценному отдыху».

Изгнанный «маломерный флот» нашел причал в Завидове — бывшей ямской станции неподалеку от Волги.

У превосходно оборудованных причалов редко увидишь два одинаковых корабля: в основном это самодельные суда. Трудно представить, что прежде здесь был заболоченный берег, на сотни метров тянулись заросли тростника, не было удобных бухт, слипов, электричества.

Но нет тут покоя мореходам-любителям. Все чаще слышны требования запретить стоянку. Мотив прост: моторы загрязняют волжскую воду. Но волжские крупнотоннажные суда, фабрики, заводы Конакова, Калинина, Торжка загрязняют воду еще больше.

Так для чего же нужна шумиха по поводу любительского «флота»? А очень просто: местные власти ищут стрелочника, который за все в ответе.

РУССКАЯ ВЕНЕЦИЯ

— По правде говоря, Вышний Волочек мы упустили,— сообщили мне в Калининском обкоме партии.

...Приехали в Вышний Волочек под вечер. Поужинать можно было лишь в ресторане при гостинице. Указа здесь, видимо, не читали: толпа у ресторана горланила, задирала прохожих, милиция не обращала на нее внимания.

Свободных мест не было. Гремел оркестр. Колыхался сизый дым.

— Пошли к нам,— потянул меня за рукав какой-то парень,— сейчас стул достанем! А ему,— парень понизил голос,— пятерку.

Я посмотрел на огромного вышибалу, дремавшего в углу.

— За что?

— Ну как? Он же должен что-то иметь!

Гостиница носила самобытное имя «Березка».

— Машину у входа можно поставить?

— Что вы! — Администратор испуганно уставилась на меня.— Тут болгары на одну ночь останавливались, так у их трейлеров все колеса прокололи...

На следующий день я сидел в кабинете председателя горисполкома Олега Александровича Киселева.

— Что же вы хотите,— сетовал председатель,— и Москва, и Ленинград шлют в область криминогенную публику, а Калинин направляет к нам.

Долгие годы город практически не получал помощи — основная продукция, текстиль, производство «непрестижное». Канализация города в катастрофическом состоянии, памятники архитектуры разрушаются, долгие годы восстанавливаются сгоревшие торговые ряды XIX века, закрыт драматический театр из-за аварийности помещения, по той же причине бездействует краеведческий музей.

И это при том, что Вышний Волочек буквально «стоит на миллионах». Ну где найдешь второй такой, с нетронутой старинной планировкой, сохранившимися пока еще набережными каналов, древними шлюзами и мостами, на которых видны следы бурлацких канатов? Причем все это в сочетании с щемящей душу природой северо-запада, чудесным Вышневолоцким водохранилищем. Да, посмотреть есть на что...

— Чтобы строить туркомплекс, нужны средства,— объясняет Киселев,— а город и так в бедственном положении...

Да какие средства?! Огородить площадку на берегу Вышневолоцкого водохранилища, провести воду, сделать пункт проката туристского снаряжения, посуды, газовых плиток. Открыть, наконец, кооперативное кафе! Затраты через год окупятся.

— Да, конечно, хорошо бы...— вяло заторопился председатель горисполкома.

И я понял, что кемпинга в Вышнем Волочке не будет много лет.

ИСПЫТЫВАЮТ ЛИ СТРАХ КОРОВЫ?

Грузино — центральная усадьба животноводческого совхоза, совсем новое село на Волхове. Не видно знаменитых аракчеевских казарм, только плиты бывшего помещичьего дома.

— Говорят, при строительстве Волховгэс подняли против расчетно-

Шлюзы Петрокрепости недавно пропускали суда.

Двухсотлетний мост бечевника на Тверце.

Судовой радист-курсант Аня Антонова.

го гребень плотины, поэтому и укосы у вас плохие? — спрашиваю директора совхоза Александра Петровича Каратаева.

— Да, вода держится высоко до середины июля. Из 3200 гектаров пастбищ две тысячи залито. Страдают коровы, страдают заработки животноводов...

Известно, что раньше корова давала здесь за свою жизнь восемь отелов, теперь — два, раньше косили с гектара по 25—30 центнеров, а теперь...

Странная складывается ситуация: сейчас борются за чистоту рек. Дело это хорошее и нужное, но вот что придумали: запретить выпас скота у берегов, там, где наиболее сочная трава. «Ничего,— успокаивают руководящие товарищи,— зато мы наладили такой выпуск искусственного белка, что коровам ничего уже будет не страшно».

Не знаю, испытывают ли страх коровы, однако расположенный ниже по Волхову город Кириши вызывает законную тревогу у жителей.

— Проблема искусственного белка, того, что выпускает Киришский комбинат, отравляя округу, сама в известной степени искусственная,— пояснил заведующий лабораторией Комиссии АН СССР по изучению производительных сил и природных ресурсов, профессор М. Я. Лемешев,— у нас очень большой план по поголовью. Молочных коров у нас в четыре раза больше, чем в США, 42 и 10 миллионов голов соответственно. Мы пытаемся их накормить, в частности, за счет искусственного белка, а можно выбраковать яловых, больных — пусть останется 20 миллионов, но зато их можно накормить досыта и в конечном счете получить больше продукции.

Пока неизвестно, вредит ли выпас экологии рек, но то, что Кириши вносят вклад в загрязнение среды, доказательству уже не подлежит. Сейчас приостановленный было комбинат под давлением отрасли вновь пущен на полную мощность. Говорят, он безвреден, но... «МЕНЯЮ ТРЕХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ В КИРИШАХ НА ОДНОКОМНАТНУЮ В ЧУДОВЕ ИЛИ ОКРЕСТНОСТЯХ».

ЛАДОЖСКИЕ КАНАЛЫ

Рекам повезло больше, чем городам. Я не знаю случая, когда комунибудь пришла в голову идея переименовать реку или озеро в честь государственного или партийного деятеля. Прощались даже «монархические» названия: скажем, город, лежащий в устье Царицы, не раз менял названия, а река — нет. Доходило до абсурда: в первые годы Советской власти псковский поселок Струги Белые был переименован в Струги Красные, хотя никакого отношения к белому движению не имел.

Города нередко получали имена от рек и озер, но есть исключения. Например, огромное озеро Нево было переименовано в честь небольшой крепости на Волхове — Ладоги, столицы Рюрика. Мимо Ладоги проплывали ладьи и баржи с хлебом и медом, прошедшие вышневолоцким путем.

В уютном рыболовецком городе Новая Ладога берет свое начало ладожский канал, построенный в обход бурного озера. В самом устье канала возле старинного шлюза торчат мачты. По мосткам попадаю на территорию яхт-клуба, где меня встречает Юрий Михайлович Тимофеев, его начальник, а в прошлом судоводитель:

— Трудно поверить, но еще в шестидесятые я проходил на буксире по каналу, тогда и шлюзы работали, и воды хватало.

Действительно, поверить трудно: ворота шлюза изломаны, где-то снят бордюрный камень, приводы затворов разбиты...

— Почему же довели канал до такого состояния, ведь это уникальный памятник отечественной гидротехники?

— А кому до этого дело? — вопросом отвечает Тимофеев.— Мы вот с ребятами,— он показал на яхтсменов, готовящих свой корабль к традиционному «Кубку Онеги»,— думаем сами заняться ремонтом старинных сооружений. Ждать дальше нельзя: пока раскачаются реставрационные службы — все развалится!

Да, ждать дальше нельзя, с каждым годом рушатся в воду тяжелые плиты исторической кладки на свинцовых шипах. Но пусть это не покажется читателю странным — я против такой инициативы. Против потому, что нельзя подменять бездействие специально созданных государственных органов непрофессиональным энтузиазмом. Ведь никто не застрахован от того, что энтузиасты, движимые лучшими побуждениями, такого натворят, что и профессионалы потом не помогут.

Но вот как раз-то специалисты и не торопятся.

— На охрану поставлено пять километров Старого Ладожского канала,— рассказывает начальник Ленинградской областной инспекции по охране памятников Наталия Борисовна Глинская,— а также два моста, водоспуск и шлюзы в Петрокрепости. Все 170 километров канала — на учете. Вся беда в том, что канал в 1962 году сняли с баланса. С той поры он бесхозен, сейчас, по нашим оценкам, его ремонт обойдется по 1 миллиону рублей за километр.

— Так что ж вы не призвали речников к ответу? — удивляюсь.

— Неоднократно обращались к конторе Волго-Балта, но речники говорят: копать новые каналы умеем, а восстанавливать старые не приучены. Минречфлот просто не отвечает инспекции. Невский судостроительный-судоремонтный завод засыпал канал для расширения территории...

Ей-богу, напрашивается вопрос: а нужны ли инспекции, которые не добиваются наказания виновных? Ну, передали дело в арбитраж, ну, проиграли. А дальше? Все... Формальные обязанности выполнили. Пусть оскорбительно молчит министерство, пусть закрыта для инспекции проходная завода в Петрокрепости, но есть общественность, есть пресса, что-то не припомню, чтобы в «Огонек» обращались за помощью унять осквернителей памяти из Петрокрепости...

Так бы и остался я с чувством безысходности относительно судьбы Ладожских каналов, если б не повстречал общественного эксперта одного из академических институтов Дмитрия Юрьевича Гузевича.

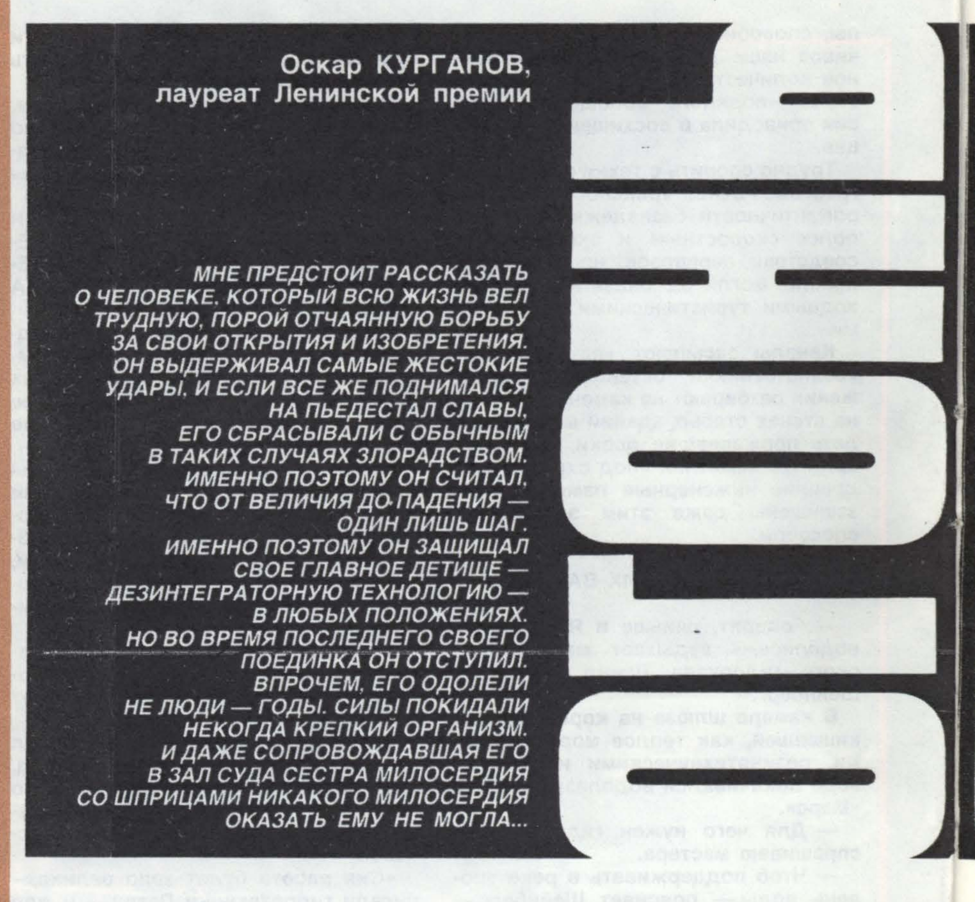
— Все не так драматично,— пояснил он,— согласно архитектурно-реставрационному заданию затраты составят всего несколько миллионов. Есть заказчик: горсовет Петрокрепости, есть и исполнители. Вновь отреставрированный канал будет иметь практическое значение: по нему предполагается наладить снабжение и подвоз пассажиров к дачным поселкам на Ладоге — с дорогами там плохо.

Не мы ли сами распускаем слухи о непреодолимости бюрократических барьеров, чтобы скрыть свою бездеятельность?

* * *

Как мы тогда волновались: рухнет или нет «Падающая башня» в Пизе! Все газеты об этом писали. Волнуют нас судьбы Эйфелевой башни, пирамиды Хеопса, а вот судьба крупнейшей гидротехнической системы, чуда техники XVIII — XIX веков, не интересует.

Почему?



I.

Иоханнеса Александровича Хинта похоронили на Лесном кладбище — Мэтсакалмису — в Таллине. Последние предсмертные дни он провел в больничной камере городской тюрьмы, в Крепости, как называют это место, и куда с давних времен изолируют от общества наиболее опасные «силы зла». До этого Хинт два года содержался в колонии строгого режима и должен был — с учетом двух лет, проведенных в тюрьме до суда,— пробыть еще шесть лет. Но судьба не согласилась с определением трех человек, подписавших судебный приговор, и по-своему распорядилась жизнью прославленного изобретателя и ученого.

Финалу этой трагедии предшествовал маленький фарс. За день до смерти «кто-то», не пожелавший назвать себя, позвонил по телефону в канцелярию Союза писателей Эстонии, на улицу Харью, дом один, и попросил передать народному писателю Эстонской ССР Ааду Хинту, брату, и всем родным Иоханнеса Хинта, что «доступ к нему свободен». Ааду был тяжело болен после перенесенного инсульта, и к Иоханнесу помчались сестра его Аманда и сын Иоханнеса — Рейно. Но дежурный комендант вернул их в Таллин. «Профессор Хинт там, в Крепости, в тюремной больнице»,— коротко сообщил он. Теперь они уже не сомневались, что доступ к Иоханнесу свободен — впервые за последние четыре года его снова называли «профессором», а в этих местах случайных обмолвок не бывает.

Однако у ворот тюрьмы их ждала печальная Пилля, младшая дочь Иоханнеса Хинта.

— Нам сказали, что доступ к Иоханнесу свободен! — бросилась к ней Аманда.

— Свободен...— подтвердила Пилля и молча повела их в холодный, полутемный подвал, где лежал Хинт.

Никто в Таллине не знал, когда и где будут хоронить Хинта, да и о смерти его возникали различные толки. Но когда его привезли на кладбище, дорожки и поляны, прилегающие к могиле, были заполнены друзьями, знакомыми и незнакомыми. Ему было приготовлено место рядом с Хелью, его женой, умершей через три недели после его ареста...

Именно она четвертого ноября 1981 года приняла на себя первый неожиданный удар.

В тот день Хинт выступал с докладом на собрании в Академии наук Эстонии, а в это время в его дом в Меривалья, на улицу Виймси, семь, явился следователь с понятыми и объявил тяжело больной жене Хинта, давно не встававшей с постели, что должен произвести обыск. Она безучастно отнеслась ко всему, что происходило в доме, молча наблюдала, как снимаются с полок и пересматриваются все книги, вытаскиваются ящики с бумагами и укладываются в специальный мешок; как вскрываются полы в комнатах и сбиваются кафельные плиты на кухне; как солдаты в огороде и садике что-то ищут длинными приборами. Разумеется, искали какие-то ценности, но обнаружили только сберкнижку на три тысячи рублей — «на похороны».

К вечеру Хинт вернулся и увидел груды книг и бумаг на полу, его вещи, выброшенные из шкафа, разоренные полы, увидел следователя, производившего опись имущества и самого дома.

— Все это будет конфисковано,— уверенно сказал он.

— Почему? В чем меня обвиняют на этот раз? — недоумевал Хинт.

Высокий следователь с торжествующим лицом подошел к Хинту и, четко выговаривая каждое слово, объявил:

— Как лауреата Ленинской премии, вас будет судить Верховный суд Эстонии в первой инстанции.

В тот вечер Хинта не арестовали: у следователя был только ордер на обыск. И все же Хинт понял, что готовится «дело», хотя сам он был убежден, что ни в чем не виноват.

— Позвони в Москву,— предложила жена, когда следователь ушел.

— Телефон выключен.— Хинт еще раз поднял трубку, убедился, что нет никаких сигналов.— Придется ехать...

Однако ночью Хинта, перенесшего до этого тяжелую болезнь сердца, «скорая помощь» доставила в таллинскую больницу, а его жену перевезли в Тарту, где жила их младшая



ПОСЛЕДНИЙ ПОЕДИНОК ХИНТА

дочь; к тому же старый университетский город славился своими врачами.

Праздничные дни Хинт провел в больнице. Его друзья и помощники по специальному конструкторско-технологическому бюро «Дезинтегратор» установили своеобразное дежурство — с утра до вечера, сменяя друг друга, приходили к нему с веселым видом ничем не обеспокоенных людей. Но Хинт-то догадывался, что и их не оставляют в покое, вызывают, требуют, чтобы они сказали «всю правду» о нем. Поэтому, оборвав одного из дежуривших, рассказывавшего об удачной рыбной ловле, Хинт тихо попросил его:

— Сулев, привези мне костюм, не ехать же в Москву в больничной пижаме. Только...— Хинт приложил палец к губам.

После октябрьских праздников они выехали поездом в Москву. Хинт сперва хотел побывать у председателя Госплана СССР, который так высоко оценил дезинтеграторную технологию, созданную Хинтом, и которому он совсем недавно вручил «Комплексную программу развития» этой технологии в ближайшие две пятилетки. И кроме этого, Хинт намеревался рассказать о своих бедах вице-президенту Академии наук СССР, который не раз поддерживал его, помогал.

Но, приехав в Москву, к друзьям, Хинт от всего этого отказался.

Нет, не пойдет он ни к тому, ни к другому. Ведь теперь речь идет не о его изобретениях и открытиях, а о поступках, которые в Таллине считают противозаконными. А в дела, которыми занимаются следователи, прокуратура, суд, им будет неудобно вмешиваться. Хинт никого не хотел ставить в неловкое положение. К тому же он был убежден, что каким-то могущественным людям в Таллине нужно, чтобы изобретатель, ученый Хинт был «под следствием и судом», стал бы «невыездным». И он послал телеграмму тогдашнему секретарю ЦК КПСС:

«Москва ЦК КПСС Кириленко. К вам обращается лауреат Ленинской премии, заслуженный деятель науки, доктор технических наук, автор более ста научных трудов. Я являюсь создателем дезинтеграторной технологии, широко внедренной в советскую промышленность и сельское хозяйство, одобренной коллегией Госплана СССР. Лицензии на это изобретение приобретаются за рубежом и приносят государству значительную валюту. В последнее время в Эстонии меня всячески пытаются скомпрометировать, обвинить в не совершенных мною преступлениях, довести дело до суда. Четвертого ноября у меня дома и в служебном кабинете были произведены обыски. Против меня возбуждено уголовное дело. Десятого ноября, когда я был в больнице, меня отстранили от работы. Исключая всякую объективность в оценке моей деятельности в республике, прошу содействовать в срочном разборе всего материала в Прокуратуре СССР в Москве. Иоханнес Хинт».

Через два дня Хинт выехал из Москвы в Тарту, к умирающей жене. Но в ста километрах от Таллина, на маленькой станции Тапа, в вагон вошел уже знакомый следователь, высадил Хинта и втолкнул в стоявшую перед вагоном машину.

В прокуратуре выяснилось, что то важное лицо, по велению которого следователь провел операцию по задержанию Хинта, уехало отдыхать — был субботний день,— и беспокоить его не принято. Надо было ждать. Вечером в воскресенье ответственное лицо вернулось в Таллин, одобрило все действия следователя, санкционировало меру пресечения — содержание под стражей, как особо опасного преступника,— и Хинта на той же машине доставили в Крепость, в городскую тюрьму.

В тот вечер Хинт вспомнил — не мог не вспомнить,— что сорок лет назад, почти день в день, пятнадцатого ноября 1941 года, к тому же пригорку, к тем же крепостным воротам, к той же металлической лестнице с решетчатым верхом, его, молодого инженера, привезли гестаповские жандармы. Хинта обвиняли в том, что он — «агент Москвы». Но все это было в трагическое время лихолетья, а теперь, через четыре десятилетия, он снова шел по знакомому коридору своей приседающей походкой, молча кивая часовым и надзирателям, как будто в этот воскресный вечер, четырнадцатого ноября 1981 года, его привезли к ним в гости. Хинт все еще верил в торжество справедливости.

II.

Впервые я встретил Хинта за двадцать с лишним лет до этого печального дня. Я приехал в Таллин, в Меривалья, где он вместе с женой и братьями — писателем и строителем — соорудил новый дом из силикальцита, созданного им бесцементного камня. Две недели он рассказывал о своей нелегкой жизни — весело, с прибаутками, с иронической усмешкой.

В первые месяцы войны его оставили в Таллине с подпольной кличкой Лехт, но он оказался неумелым конспиратором. Фашистские жандармы его быстро разоблачили. Он объяснял это тем, что отец, капитан дальнего плавания, сурово наказывал детей за самый страшный грех — неправду. «Я просто не был подготовлен к роли человека, живущего двойной жизнью,— объяснял свою неудачу Хинт.— Кроме этого, в Таллине хорошо знали молодого эстонского инженера, который переселял людей из рабочих бараков в особняки богачей, один из которых и выдал меня».

Его поместили тогда в переполненную Крепость, откуда увозили только на расстрел. Но, к счастью, немцам нужен был торф, и Хинта отправили в лагерь, созданный на торфяных болотах. Отсюда-то ему удалось бежать.

За ним по пятам шли жандармы, он прятался в лесу, на хуторе, в подвале дома, где жила старшая сестра Аманда... Но кольцо вокруг него сжималось, и та же Аманда вывела его к заливу, откуда эстонские рыбаки совершали весьма рискованные ночные рейсы к финскому берегу. «А там уже близко до нейтральной Швеции»,— убеждала Хинта наивная сестра. Разумеется, нужны были немалые деньги за переправу, и Аманда собрала их у родных. Вся эта «авантюра», как назвал ее Хинт, завершилась финской тюрьмой, где он пробыл, в крайне тяжелых условиях, два года, до Победы.

После возвращения в Таллин Хинта долго и придирчиво «проверяли» — он считал это вполне естественным. И только получив «хорошие отзывы», Хинта направили на кирпичный завод — в лабораторию.

С тех пор вся его жизнь была поглощена изобретениями, которые в конечном счете и привели к созданию дезинтеграторной технологии.

Но в те послевоенные годы, о которых идет речь, Хинт только открыл новый способ измельчения материалов, необходимых для формовки искусственного бесцементного камня, названного им силикальцитом. Сперва это касалось извести и песка, а в дальнейшем — и всех имеющихся в природе твердых и даже жидких материалов, в которых новый способ обработки — в дезинтеграторе-активаторе — позволил открыть новые физические и химические свойства. Тогда же Хинт полностью реконструировал старую машину — дезинтегратор — заменил ей сердце и наделил ее невиданными скоростями, близкими к скорости звука.

Конечно, изобретение Хинта много лет не признавали. Но о нем узнали иностранные строительные и химические концерны. Их делегации приехали в Меривалья, купили лицензии, пригласили Хинта и его помощника Лейгера Ванаселья («великого Лейгера», как назовут его потом) для налаживания производства — в Италию, Японию, Австрию. Вот тогда-то и у нас заинтересовались Хинтом, его изобретениями.

Но в те годы наши «умные головы», возглавлявшие строительную индустрию, пренебрегали и этими извечными законами. Сперва они не замечали или высмеивали Хинта, а когда его признали иностранцы и пришлось пустить изобретателя в Европу, возник еще один барьер на пути силикальцита — сам Хинт. Он оказался человеком вспыльчивым, взрывным, резким, неуправляемым, наконец, слишком самостоятельным. Мало того, когда министр промышленности строительных материалов СССР стал упрекать его во всех этих слабостях, Хинт назвал его человеком неумным, не государственным и даже не знающим то дело, которое он возглавляет. «Да и зачем вам управлять мною. Разве вы знаете силикальцит лучше меня?»... Естественно, что все это не помогло Хинту, а мешало.

Недруги его — их всегда было немало — сразу же воспользовались «конфликтной ситуацией» и «нашли» в силикальците много пороков. «Боги цемента и железобетона» сбросили с пьедестала непрошеного да еще неугодного министру «дьявола» — они публично, в строительных журналах, объявили, что силикальцит плох, а Хинт — еще хуже. Тогда-то иностранные фирмы пришли на помощь им, недругам Хинта. Если силикальцит плох, то они сократят или даже отменят платежи за купленные лицензии. Так они официально объявили нашему экспортному объединению «Лицензинторг». А неофициаль-

но — долго и заразительно смеялись: слава торговцам, ругающим товар, который они продают!.. Смех их был услышан в Японии — там тоже отказались платить за силикальцитную лицензию. Весть эта подлила масла в московский бюрократический костер. Вот видите, вопили подхалимы, поддерживавшие министра, иностранные строительные фирмы тоже разобрались и отказываются от силикальцита! Мы теряем миллионы валюты. Наше социалистическое государство попало в положение торговца «гнилым товаром».

Вот тогда-то собирается форум недругов Хинта. Они «разоблачают» изобретателя, объявляют его шарлатаном, силикальцит признают камнем бесперспективным. И уже, ссылаясь на научные авторитеты, министр издает приказ о ликвидации института силикальцита, созданного Хинтом, и об увольнении самого изобретателя.

Так десятого февраля 1965 года расправились с открытием Хинта и самим Хинтом.

А что же те двадцать заводов силикальцита, которые были сооружены,— в Средней Азии, на Украине, в Казахстане, в Эстонии и под Москвой? Их-то ликвидировать нельзя было — они продолжали и продолжают действовать до сих пор. И продолжали строиться многоэтажные дома — их уже достаточно, чтобы поселить в них большой город,— они исчисляются миллионами квадратных метров. Мало того, из силикальцита построен новый город — Чайковский. Можно себе представить, что думают жители этого города о том дальновидном министре.

А что же иностранные фирмы? Они заменили название камня. Но, конечно, продолжали самодовольно посмеиваться над нами — ведь приказ министра позволил им сэкономить миллионы долларов, которые должны были уплатить за лицензию. Дома из силикальцита — лапрекса — продолжают сооружаться до сих пор; мне довелось побывать в них — в предместье Парижа и в Милане.

Таков был первый этап возвышения и падения Хинта. И этому этапу я посвятил свою повесть «Сердца и камни» — об изобретателе Лехте и его многострадальной судьбе. Прототипом главного героя повести послужил мне Иоханнес Хинт. Однако пессимистический финал книги вызвал резкие возражения в издательстве «Советский писатель», и я дописал новые две страницы. Моя фантазия отправила героя повести — уволенного и ошельмованного — в маленький эстонский лесной поселок Кярику, где из силикальцита был сооружен большой спортивный комплекс Тартуского университета. Здесь он гулял по лесу, радуясь возвращению к природе и запрещая своим друзьям и помощникам напоминать ему об искусственном бесцементном камне под названием силикальцит: герой мой жил не прошлым, а будущим.

Вскоре же после выхода книги я убедился, что моя писательская фантазия была слишком бедна. Хинт, может быть, и был в Кярику — он здесь иногда отдыхал,— но оказался более сильным, талантливым и дальновидным, чем мой Лехт.

Хинт и его помощники (они сами ушли из института вместе с Хинтом) вскоре очутились в полутемном полуподвале на Тартуском шоссе в Таллине, в проектной конторе — надо было как-то жить. При этом доктор технических наук и профессор Хинт был рядовым проектировщиком, а возглавлял контору Лейгер Ванаселья — спокойный, сдержанный, талантливый ученый и герой, победивший в детстве полиомиелит и заставивший себя после длительной тренировки ходить. И вот здесь, в полуподвале, вечерами и ночами, они шесть лет открывали все новые и новые тайны дезинтеграторной технологии. Здесь же была разработана новая модель исследовательского и технологического центра, в котором соединились наука и производство. Дезинтегратор должен был пройти в этом центре все стадии модернизации и совершенствования.

Долго спорили, судили, рядили, остановились на том, что новый центр — конструкторское и технологическое бюро «Дезинтегратор» — создается на кооперативных началах; пайщиками могут быть и колхозы, и институты, и даже заводы. Ничего подобного в те годы не было, и Хинт стал фантазировать, сочинять устав, технические условия, примерные размеры пая — «акций», как он шутил, масштаб всего центра, нарисованного на кальке, но действовавшего только в его воображении и мечтах.

Все это происходило весной 1974 года, и нужна была великая энергия, убежденность и обаяние Хинта, чтобы этот фантастический проект не был отвергнут. Правда, им повезло в одном, если не в главном: сразу же проект кооперативного научного и технологического бюро поддержал Иоханнес Густавович Кэбин, который тогда был первым секретарем Центрального Комитета Компартии Эстонии.

Мы уже привыкли причислять те годы к «периоду застойному», но и в той атмосфере действовали люди с широким государственным и общественным кругозором, смело поддерживающие инициативу других. К таким людям и принадлежал Кэбин.

В замысле Хинта — создать кооперативный научный центр — Кэбин увидел нечто большее, чем конструкторское бюро «Дезинтегратор». Возникала какая-то новая модель живого творчества. И хотя с яростными спорами, но Кэбин все же помог Хинту преодолеть бюрократические барьеры — и в кабинетах Таллина, и в различных ведомствах Москвы.

Через два года на пустыре Ленинградского шоссе при выезде из Таллина были воздвигнуты четырехэтажный дом, подсобные цехи. Кооперативное «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Дезинтегратор» стало действовать.

Возник и своеобразный внутренний распорядок жизни этого центра. Демократизм, выборность, гласность. Всех в центре, от директора до начальника отдела и их заместителей, выбирают, а не назначают. Тайным голосованием, с предварительным обсуждением.

Естественно, что слава о таком кооперативном центре перешагнула границы Эстонии. В Таллин к Хинту ежедневно приезжали делегации — сперва свои, отечественные, а потом и зарубежные. Лицензии на дезинтегратор-активатор, как его стали называть, увеличивали валютные доходы нашего государства. А прибыль в советских рублях достигала в иные годы десяти миллионов рублей. Но начинали-то с нуля, ни одного рубля у государства «Дезинтегратор» не взял.

Возник здесь и подсобный цех, который впоследствии сыграл роковую роль в судьбе Хинта...

Известный эстонский сыровар Урмас Альтмери тридцать лет создавал пищевой тонизирующий напиток АУ-8, настой из смеси сотен трав, которые он собирал не только в Эстонии, но на Памире и на Кавказе. С ночи к дому Альтмери выстраивались очереди, к нему приезжали за тысячи километров, умоляли, требовали. Эстонский врач, к которому, по-видимому, больные не обращались, послал донос и потребовал отправить «шарлатана Альтмери» в тюрьму, а его напиток — уничтожить. Милиция уже готова была совершить экзекуцию. Но вмешался Хинт — ему этот напиток дал новые силы: На общем собрании пайщиков «Дезинтегратора» он предложил создать подсобный цех, а самого Альтмери — назначить его консультантом. Все, что затевал Хинт, делалось с широким размахом. Он добился в Москве разрешения затратить малую толику заработанной им валюты на покупку необходимого оборудования в Федеративной Республике Германии. Так возник цех-автомат...

Авторитетный медицинский совет контролировал все стадии этого подсобного производства (в совет входили известные эстонские врачи и ученые — медики, химики). Была установлена и утверждена государственная цена на литр АУ-8, и вскоре его уже продавали в Таллине и в Пярну.

Итак, маленькое кооперативное бюро «Дезинтегратор», действовавшее на полном хозрасчете и самофинансировании, за шесть лет превратилось в крупнейший международный центр с высокой прибылью и большими перспективами.

Об этом интереснейшем опыте московские ученые, побывавшие в Таллине, написали председателю Госплана СССР. Он сразу же создал экспертную комиссию из крупнейших московских ученых, которой поручил изучить всю деятельность эстонского кооперативного бюро. Возглавил комиссию академик Н. С. Ениколопов.

А самого Хинта попросили развернуть в Москве выставку, отражающую весь путь «Дезинтегратора».

В день открытия выставки — 10 февраля 1981 года — коллегия Госплана СССР заслушала доклады Хинта и Ениколопова. Это был триумф эстонских ученых. Мне довелось присутствовать на этом многолюдном и своеобразном заседании. Казалось, что этому опыту будут открыты все дороги. Вскоре была даже разработана «Комплексная программа развития» до 1990 года. Эстонские экономисты подсчитали, что за одиннадцатую пятилетку дезинтеграторная программа сэкономит государству два миллиарда рублей, а в двенадцатой — три миллиарда. Господи, сколько многообещающих и радужных бумаг, цифр, речей... Однако дело не сдвинулось ни на шаг.

Вместо этого двинулось «следственное дело Хинта». События развивались так.

Еще до выставки и доклада в Госплане СССР у Хинта возникла конфликтная ситуация в Таллине. Внешним поводом для нее послужили возросшие международные связи «Дезинтегратора» и деятельность советско-австрийского бюро «Дессим». Каждую неделю приезжали делегации в Таллин; выезжали за границу Хинт, Ванаселья, Ноор, московские ученые. Так вот, Хинта обвинили, что во время этих взаимных контактов он нарушал многочисленные инструкции, регламентировавшие жизнь советского человека за рубежом и иностранцев в Таллине. Между тем Хинт строго следил, чтобы наставления эти соблюдались.

Но конфликт возник в связи с другими ограничениями, которые он называл «негласным конвоем», лишавшим свободы общения и деловых встреч. У Хинта дачи не было, и он приглашал гостей в свой дом в Меривалья, на окраине Таллина. Это были «ответные приемы» после поездок в Вену, Рим, Милан, Токио. Вокруг всех этих процедур и раздувались страсти. Хинта объявили «неуправляемым» и «невыездным». К этому примешивалось обвинение в том, что конструкторско-технологическое бюро, подчиненное «Эстколхозстрою», слишком мало уделяет внимания эстонским колхозам, а весь свой талант ученые отдают технологии, которая используется в других республиках и за границей. В речах и лексиконе Хинта все чаще звучали формулы о «благе человечества» и «мировой промышленной технологии», и это еще больше раздражало людей ограниченных, занимавших в эстонской партийной и государственной иерархии высокие посты. Атмосфера в Таллине во время выставки и доклада Хинта в Госплане СССР была неблагоприятной. Доклад Хинта в Госплане СССР послужил взрывателем для мины замедленного действия. И когда эстонские ученые вернулись в Таллин, то увидели, что в их лабораториях и кабинетах бушует ревизорский и следственный шторм.

Вскоре был арестован главный инженер, он же — секретарь партийного бюро «Дезинтегратора». Режиссеры готовили спектакль по классическим канонам. Следователь предъявил ему обвинение в серьезных правонарушениях, но при этом обещал отпустить, если он подпишет «признание», что все делалось с ведома и даже по приказу Хинта. Так поступили почти со всеми его заместителями, за исключением Ванаселья — знали, что он-то никогда не подпишет ложный донос.

Впоследствии на суде главный инженер обратился с покаянным письмом, объяснял свои ложные показания незаконными методами следствия, отказался от клеветнических обвинений Хинта. Судья не обратил внимания на этот «крик совести». Не мог же он разрушить с таким трудом возведенную пирамиду дела Хинта.

III.

В связи с телеграммой Хинта секретарю ЦК КПСС было дано указание затребовать дело в Москву. Но выяснилось, что дела этого еще не было. В то время, когда Хинт посылал свою телеграмму, он был еще на свободе. Что же — препроводить его под конвоем в Москву? Возникла весьма щекотливая ситуация, и, по настоянию эстонской прокуратуры, вместо пересылки в Москву «материалов дела» в Таллин был направлен еще один следователь по особо важным делам, который возглавил следственную группу. Не знаю, с каким напутствием он приехал, но вскоре он утверждал, что Хинт — преступник, что кооперативное бюро «Дезинтегратор» он создал только для того, чтобы легче было расхищать социалистическую собственность, что советско-австрийское бюро «Дессим» придумано им для прикрытия «преступного сговора с капиталистической фирмой», что, наконец, вся жизнь Хинта, и особенно «финский период», еще нуждаются в тщательной проверке. Все это следователь говорил друзьям и помощникам Хинта, но ничего, кроме иронической усмешки, от них не добивался. Для следственной группы начались трудные времена поисков тех самых преступлений, за которые Хинт был арестован. Следственные поиски продолжались десять месяцев и десять дней. А все это время старый, больной ученый не знал, за что его арестовали.

Правда, через три недели после ареста эстонский следователь по особо важным делам сообщил Хинту, что жена его умерла и хоронить ее будут на Лесном кладбище в Таллине. «Сердобольный» следователь обещал отпустить его на похороны, если Хинт признает себя виновным перед видеомагнитофоном. Хинта так потрясла смерть жены, с которой прожил сорок два года, что в ту минуту был готов произнести любой подготовленный следователем текст признания. Он даже не помнил, что тогда говорил.

Но выключив видеомагнитофон, следователь спокойно сказал Хинту, что это «следственный прием» и на похороны жены его не отпустил.

Но вернемся к следователю московскому. За свою многомесячную деятельность в Таллине он сочинил десятки томов дела. Главный обвиняемый в них — Хинт. Он — главарь банды хищников, ему предъявлено до двух десятков обвинений. Но самое главное из них связано с напитком АУ-8...

В тиши своей лаборатории Альтмери продолжал эксперименты, используя новые травы и новые биологические примеси. Обычно экспериментальный напиток выливали в канализацию — продавать его не могли, как некондиционный. Но Хинт попросил врачей держать под строгим контролем экспериментальный напиток и, если он не вреден, выдавать больницам, амбулаториям и всем желающим бесплатно. Так и поступили. Разумно? Да! Но следователь назвал это хищением. Выходит, лучше выливать в канализацию? Да, лучше так, отвечал он. Подсчитали, сколько выдано этого эксперименталь-

ного напитка. Получилась почти полумиллионная сумма. Так следователь «открыл» преступление Хинта номер один.

Следует отметить, что с момента появления Альтмери в «Дезинтеграторе» специальный человек вел «Дневник АУ». Он лежит передо мной, или, точнее, его ксерокопия. В нем — двести пятьдесят две страницы. С поразительной точностью, скрупулезностью и аккуратностью отмечены все события: даты приездов всех иностранных и советских гостей, интересовавшихся напитком, их фамилии, должности, адреса. Вот какие хищники! В этом «Дневнике» я обнаружил имена очень многих эстонских и московских государственных и партийных деятелей, выдающихся писателей, композиторов, прославленных космонавтов. Словом, если собрать всех, то образуется длинная колонна — от тюремной камеры Хинта до кабинета следователя в прокуратуре. Есть в этом «Дневнике» и мое имя, но к этому я еще вернусь.

Как видите, Хинт завел «Дневник АУ» для того, чтобы нигде не было никаких нарушений. Но следователь, а позже и суд использовали его, как улику.

В своей тюремной камере на обвинительное заключение Хинт написал ответ, назвав его «Обвинения и правда». Он полностью опроверг все надуманное, юридически несостоятельное, собранное на четырехстах семи страницах обвинения. Впервые к Хинту допустили адвоката — Юрия Августовича Рятсепа: его пригласили из города Вильянди. Адвокатам Таллина «порекомендовали» не вмешиваться в дело Хинта.

Рятсеп собрал исчерпывающие доказательства полной невиновности Хинта и на суде, который продолжался почти до конца 1983 года, настаивал на его безусловном оправдании. «Перед вами человек, живущий впереди своего времени, прокладывающий дорогу в будущее. В этом его счастье и в этом его трагедия. Ведь за это счастье ему приходится платить дорогой ценой»,— так заключил свою четырехдневную речь Рятсеп.

И, как бы подтверждая речь защитника, Хинт вместо своего последнего слова на суде зачитал доклад, который он произнес на заседании коллегии Госплана СССР,— о великом будущем дезинтеграторной технологии, вновь напомнив о тех, кто помогал и кто мешал созданию «этого нового компонента мировой промышленной технологии». Он не сомневался, что его оправдают, и продолжал свой поединок. Однако услышав приговор суда — пятнадцать лет лишения свободы,— он понял, что это — последний поединок.

Хинт напоминал своим помощникам, что изобретатель, если он действительно открывает что-то новое, вызывает огонь на себя. Теперь же, заложив руки за спину, под конвоем, он шел навстречу этому огню.

IV

За два с лишним года — с пятнадцатого ноября 1981-го по двадцать третье декабря 1983-го — я много раз приезжал в Таллин. Встречался со следователями разных рангов, проводивших свои «следственные действия»; был у Хинта в тюрьме, в Крепости и, наконец, на судебном процессе в Верховном суде Эстонской ССР. Передо мною раскрылась вся трагедия предвзятости и необъективности, могущественной власти «телефонного права», действовавшего в то время в Эстонии.

Вот почему я счел необходимым написать о своих размышлениях в ЦК КПСС. Я вторгался в сложную и тайную область следствия и суда, хотя не был юристом. Но мне казалось, что слово литератора в любой области в любое время может быть принято во внимание.

Первое письмо я написал тогда Генеральному секретарю ЦК КПСС Юрию Владимировичу Андропову. Я знал, что он тяжело болен и в связи с этим решил посоветоваться с Сергеем Михалковым и Юрием Бондаревым, возглавляющими писательскую организацию России. Разговор у нас шел тогда не столько о моем письме, которое они прочитали и одобрили, сколько о возможности или невозможности передачи его больному Генеральному секретарю. Я был убежден, что никому другому такое письмо посылать нельзя. Во всяком случае, так мне казалось, и, думаю, я не ошибался. Михалков со свойственной ему решительностью подошел к телефону прямой правительственной связи, переговорил с кем-то и сказал мне:

— В два часа дня тебя ждет один из помощников Генерального секретаря — Борис Григорьевич Владимиров.

В назначенное время я был на шестом этаже скромного, но поистине исторического дома на Старой площади. Владимиров сразу же принял меня, прочитал письмо и все материалы следствия и суда, присланные мне из Таллина, подробно расспрашивал о Хинте и его деле.

— Такое дело надо доложить немедленно,— сказал он,— но боюсь, болезнь помешает нам.

Владимиров надеялся на скорое выздоровление Андропова. Однако после этой встречи нас всех потрясла горестная весть о его смерти. Генеральным секретарем был избран Константин Устинович Черненко. Владимиров был переведен на другую работу (теперь он — главный редактор «Экономической газеты»), но посоветовал еще раз написать, новому Генеральному секретарю. Меня принял его помощник — Павел Павлович Лаптев и с той же внимательностью и искренним сочувствием выслушал. Его помощь и содействие в сущности определили все дальнейшие события, связанные с делом Хинта. Лаптев доложил мое письмо Генеральному секретарю, и было дано указание — затребовать дело в Москву, проверить и доложить...

В журнальной статье нет возможности привести полностью письмо, адресованное мною в Политбюро ЦК КПСС. Однако заключительная часть представляет интерес и теперь, через четыре года: *«Первый секретарь ЦК Компартии Эстонии К. Г. Вайно в своей речи, опубликованной 20 июля 1983 года, за пять месяцев до приговора суда, и фактически предрешая этот приговор, объявил руководителей «Дезинтегратора» преступниками. Все, знающие обстановку в Эстонии, понимали, что после этой речи суд и приговор — простая формальность...*

Во время следствия Хинту не раз напоминали, что его прошлые заслуги не будут приняты во внимание судом, вопреки извечным традициям правосудия. Между тем заслуги Хинта — его изобретения и открытия, а над ними, как известно, не властны ни следствие, ни суд. Пройдут годы, и Хинта будут с благодарностью вспоминать всюду, где его дезинтеграторная технология пробьет себе дорогу и принесет обильные плоды.

Уже много дней и бессонных ночей я думаю об этом деле, оно не дает мне покоя. Трагическая судьба Хинта стоит перед моими глазами, как зловещий призрак.

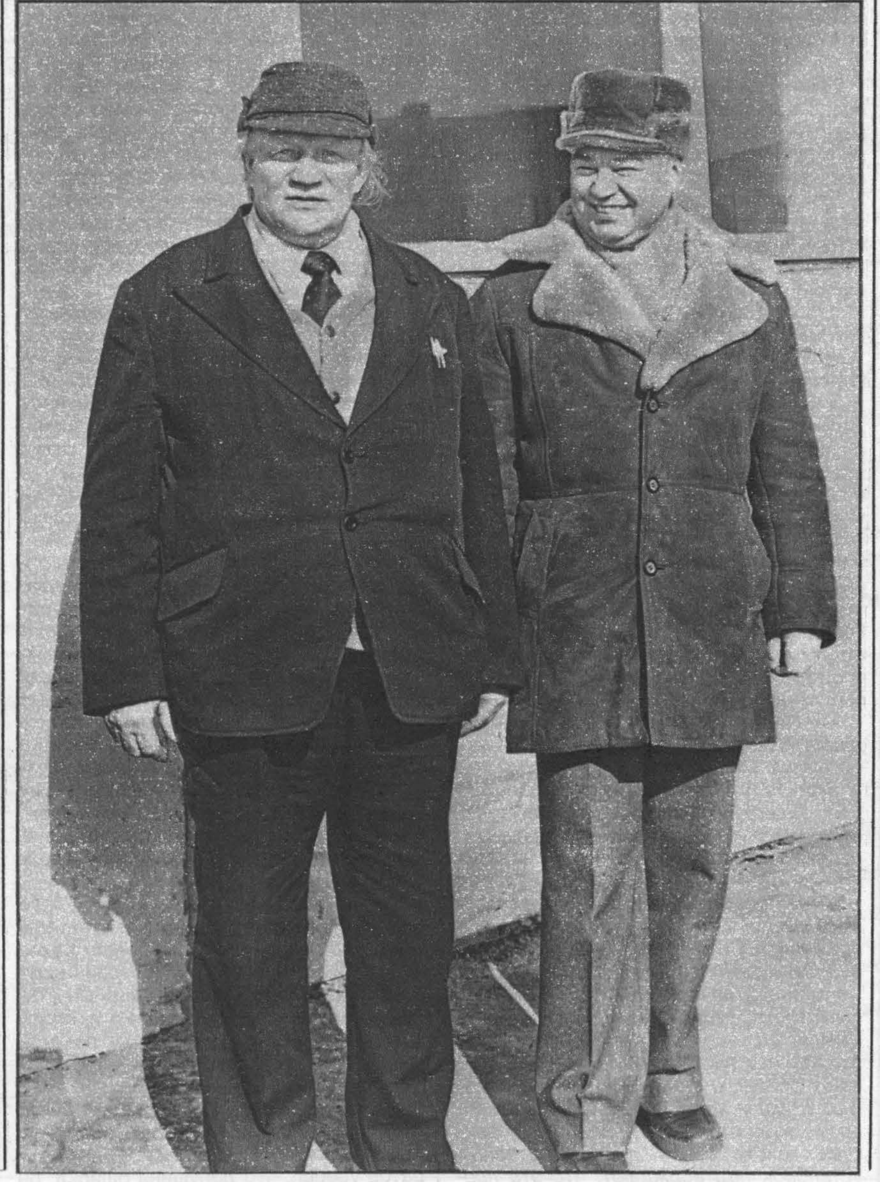
Известно, что величие любого государства во все времена в немалой степени определялось совершенством и гуманностью его следственной и судебной системы. По-видимому, не все благополучно в этом смысле не только в Эстонии, но и в Прокуратуре СССР. Убежден, что время сметет пыль наветов, но оставит плоды трудов первооткрывателя и его муки. И какие бы сложные, пугающие формулы обвинения ни сочинялись, Хинт останется в нашей памяти подвижником, а не преступником. Так неужели нам мало тех мучеников науки, которые были уничтожены в недавнем прошлом и именами которых теперь называют институты, улицы, целые направления в науке?

Убедительно прошу уделить внимание этому делу.

С глубоким уважением

О. Курганов

19 марта 1984 года».



Первым и своеобразным ответом на мои письма был залп газетных статей, обрушившихся на Хинта и меня. Первооткрывателя дезинтеграторной технологии, ссылаясь на судебный процесс, обвиняли в махинациях и хищениях, связанных главным образом с производством и продажей напитка АУ-8.

Мне же попало за то, что я будто бы написал три книги о Хинте, спутав три издания одной повести «Сердца и камни» с тремя отдельными книгами, а вымышленного мною героя Лехта — с его прототипом Хинтом. Мало того, требовали от несуществующего парткома Союза писателей СССР строго наказать меня и за это, и за связь с Хинтом.

Между тем мои ошибки относились к повести, так пока и не написанной. Я задумал ее в конце семидесятых, когда приехал в Таллин и увидел, что создал Хинт, по существу, на пустом месте — кооперативный конструкторский и технологический центр, демократизм и открытость отношений, всеобщую увлеченность новым делом, а главное — новую экономическую модель; понял, что передо мной — не нарисованные на картинках или в пустых резолюциях, не высокопарные посулы и поэмы о будущем, а реальный, деловой, хорошо продуманный и захвативший умы и сердца девятисот человек прорыв в это будущее. Я стал изучать все, имеющее отношение к «Дезинтегратору», его людям и делам. Как всегда в таких случаях, когда я начинал новую работу, был не сторонним наблюдателем, познавал дело не по рассказам, а стараясь все увидеть своими глазами, понять и почувствовать внутренний мир героев моей будущей повести. Я жил их заботами, вместе с ними выезжал на заводы и в институты, потом — по мере сил — помогал им готовить обширную выставку в Москве и многотомные «материалы» в связи с докладом на коллегии Госплана СССР. Все это время я пользовался служебным транспортом «Дезинтегратора», иногда получал экспериментальный напиток АУ-8. Эти последних два обстоятельства и использовали следователи, а за ними — и авторы статей, чтобы опорочить, ослабить писательскую позицию.

Когда я выступал на суде, адвокат (а потом и обвинитель) спросили меня, собираюсь ли я писать книгу о Хинте и его изобретениях. Я ответил: «Она же пишется на ваших глазах...» Но председатель суда отклонил этот вопрос как не относящийся к делу. Теперь же могу с полным основанием сказать, что именно в кооперативном объединении «Дезинтегратор» я увидел тогда ростки перемен, которые теперь происходят в нашем государстве,— инициативу, смелость, здравый смысл во всем, полный хозрасчет и самофинансирование. И моя главная ошибка, ошибка писателя-коммуниста, состоит в том, что тогда не написал задуманную мною повесть.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда СССР отнеслась с должным спокойствием к газетному шуму; вот письмо, которое я получил двадцать восьмого апреля 1984 года (№ 02-848-83):

«В связи с поступившим из ЦК КПСС Вашим письмом по делу Хинта И. А. сообщаю, что указанное дело в настоящее время истребовано для проверки Прокуратурой СССР. О результатах проверки Вам будет сообщено».

Конечно, не так-то просто проверять дело, состоящее из ста томов, из которых шестьдесят — на эстонском языке; не так-то просто проверять дело, сочиненное и подготовленное следственной

группой, которую возглавлял следователь по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР. Конечно, проверять-то можно, но признать ошибочность своих же действий и суждений — очень даже не просто. Люди есть люди — какие бы посты они ни занимали. Все это не могло не волновать меня. Во всяком случае, именно этим я объяснял себе затяжной характер проверки. Она продолжалась одиннадцать месяцев.

За это время Хинта перевели из таллинской тюрьмы в колонию усиленного режима. Все это время он спокойно и мужественно ждал завершения проверки его дела. Раз в два месяца к нему приезжала младшая дочь — Пилля; дважды на короткий срок — на час и сорок минут — к нему допустили его помощника и друга Лейгера Ванаселья.

Хинт, как всегда, был поглощен делом. Ни о чем другом он не мог думать и говорить. Это затрудняло общение с ним людей, мало знавших его. Да и он сам, почувствовав малейшее рассеянное внимание к его мыслям, раздражался, умолкал. Все его помыслы, даже в колонии усиленного режима,— о будущем и великих возможностях дезинтеграторной технологии. Он уверял тогда, что наступит время, и советская технология с помощью универсального дезинтегратора-активатора опередит американскую, японскую да и вообще мировую промышленную технологию.

Двадцать восьмого марта 1985 года, в день очередного заседания судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда СССР, был оглашен протест одного из крупнейших советских юристов, занимавшего пост заместителя Председателя Верховного суда СССР. В протесте сухо и точно доказывалось, что нельзя считать хищением и даже нарушением законов бесплатную выдачу экспериментального напитка АУ-8, как и продажу стандартного, неэкспериментального напитка по себестоимости тем, кто его производит. В протесте также доказывалось, что выплаты премий являются законными, а обвинения Хинта в контрабанде — недоказанными.

Таким образом, пять шестых всей суммы «хищений» были опротестованы.

При этом подчеркивалось, что, кроме премии, полученной как директором и научным руководителем бюро «Дезинтегратор», Хинт не может быть обвинен в каком бы то ни было личном обогащении или личной корысти. Оставшаяся же одна шестая той чудовищной суммы, которую насчитали следователи, а за ними — судьи в Эстонии,— относится главным образом к расходам социальным, в частности на зарплату врачам и сестрам милосердия из больницы «Скорой помощи». (Своей поликлиники в «Дезинтеграторе» не было.) Хинт, конечно, знал, что нарушает какие-то инструкции по труду. Но при этом отстаивал свою позицию — жизнь человека дороже и весомее всех инструкций.

На том же заседании судебной коллегии по уголовным делам была выслушана другая точка зрения по делу Хинта — заместителя начальника управления Прокуратуры СССР по надзору за рассмотрением уголовных дел в судах. Он настаивал на том, чтобы протест заместителя Председателя Верховного суда СССР не был удовлетворен, за исключением «оплаты премий за творческие успехи», которые утверждал не Хинт, а специальное жюри. «Все же другие решения Верховного суда Эстонской ССР полностью оставить в силе»,— настаивал он.

Вот когда столкнулись честь справедливости и мудрой истины, с одной стороны, и честь закона, творящего беззаконие,— с другой. Иначе говоря, сбылись худшие опасения, которые не давали мне покоя еще в начале одиннадцатимесячной проверки дела Хинта.

К сожалению, и судебная коллегия по уголовным делам в известной мере склонилась к золотой середине: как мне официально сообщили, «действия Хинта переквалифицированы», их называют уже не хищением, а злоупотреблением должностным положением; срок содержания в колонии строгого режима сократили до десяти лет.

Почему? Ведь осталась одна шестая той суммы, которую насчитали. Да и она свидетельствует о бескорыстии Хинта. Так почему же все-таки десять лет? Только для того, чтобы Хинт уже никогда, до конца своей жизни, не вышел на свободу?..

Многие ученые, хорошо знавшие Иоханнеса Хинта и верившие в его честность, вновь стали хлопотать о его освобождении — на любых условиях и в любой форме помиловать или признать назначенный срок условным. Словом, спасти от смерти в тюрьме. Именно об этом много раз писали председатель Комиссии по механохимии и механоэмиссии, член-корреспондент Академии наук СССР Б. В. Дерягин и заместитель председателя Госэкспертизы по дезинтеграторам, профессор, доктор наук П. Ю. Бутягин.

Дело это привело к потерям экономическим, государственным — о них нельзя умолчать. Я имею в виду прежде всего разработанную эстонскими учеными, технологами и экономистами «Комплексную программу развития дезинтеграторной технологии в СССР до 1990 года». Эта смелая программа была подготовлена в 1981 году, роковом для Хинта, возглавившего эту работу по поручению Госплана СССР. Смысл «Комплексной программы» может быть выражен очень коротко — за десять лет, с 1981 по 1990 год, дезинтеграторная технология, внедренная во все важнейшие отрасли народного хозяйства, может сэкономить государству пять миллиардов рублей. В среднем — по пятьсот миллионов рублей в год. Создавался специальный координационный комитет, который должен был возглавить профессор и доктор наук Иоханнес Хинт.

Однако через две недели после представления «Комплексной программы» Хинт был арестован, и ее отправили в архивные сейфы, где она и пребывает до сих пор.

Для полноты картины надо рассказать и о попытке возродить «Комплексную программу» уже без Хинта. Около четырех лет тому назад, точнее — восьмого июня 1984 года, на заседании коллегии Госплан СССР вновь, во второй раз, обсудил проблемы и перспективы дезинтеграторной технологии. И тогда-то опытные экономисты, смелые и революционно настроенные государственные деятели информировали общественность об экономических выгодах новой прогрессивной технологии и тормозящих ее силах. Тогда же было утверждено обращение к редакциям газет. Вот оно передо мной (№ 61-141 от 8 июня 1984 года), подписанное тогдашним заместителем Председателя Совета Министров СССР и Председателем Госплана СССР Н. К. Байбаковым (почти все обсуждавшие этот документ продолжают теперь занимать высокие партийные и государственные посты):

«В связи с перспективами развития дезинтеграторной технологии коллегия Госплана СССР сообщает следующее.

Важной и весьма сложной проблемой для нашего народного хозяйства является измельчение и механическая активация минерального сырья и материалов... Для измельчения миллиарда тонн различных веществ в год расходуется до восьми процентов всей производимой в СССР электроэнергии... Создание дезинтеграторов-активаторов в кооперативном специальном конструкторско-технологическом бюро «Дезинтегратор» в Таллине позволяет решить эту проблему — они обеспечивают большую экономию электроэнергии, труда и материалов. Действующие во многих отраслях народного хозяйства триста сорок дезинтеграторных установок подтверждают, что эта прогрессивная технология должна получить широкое развитие в текущей и последующей пятилетках...»

Далее следует подробный анализ достигнутой эффективности в геологии, на нефтяных промыслах, в газовой и цементной промышленности, в строительной индустрии, в металлургии и сельском хозяйстве.

Экономисты подсчитали, что можно сэкономить столько же электроэнергии, сколько вырабатывает Братская гидроэлектростанция.

И все же отправили в архивные сейфы «Комплексную программу», отказались от возможной экономии в народном хозяйстве, устроили своеобразный «заговор молчания» вокруг кооперативного бюро «Дезинтегратор». За семь лет, прошедших после ареста Хинта, в газетах Таллина и Москвы не сочли возможным рассказать, как трудятся, что делают исследователи в новом для того времени, оригинальном по структуре, по перспективам кооперативном бюро «Дезинтегратор». Ежегодно в Таллине проводились научные семинары, на которые приезжали академики, доктора и кандидаты наук из Москвы, Ленинграда, Киева, Новосибирска, Алма-Аты. Все они вели исследования, связанные с новой технологией, рассказывали о них в широких аудиториях. Но и на эти многолюдные семинары накладывались невидимые и неслышные табу.

Вот какой могущественной силой стал у нас прокурорский и судейский перст...

Я не назвал фамилий следователей, прокуроров и судей — таллинских и московских. Полагаю, что это не существенно. Нет ничего удивительного в том, что хорошо смазанные шестеренки, маховики и валы действуют быстро, напористо, дают ход всей машине — следственной и судебной. Меня больше всего интересует тот, кто держал руку на рычагах, на пульте, на кнопке. В этом деле его роль особенно велика. Конечно, служители судебно-правовой системы подчиняются закону, только закону, никогда не забывают о «презумпции невиновности» обвиняемого, без которой вообще нет ни следствия, ни суда, ни правосудия. Много раз — увы! — мне приходилось слышать об этом от юристов различных рангов — в тридцатых, сороковых и, конечно, в восьмидесятых годах. Но как далеки эти книжные формулы от нашей подлинной жизни!

За месяц до своей смерти из колонии строгого режима Хинт прислал мне короткое письмо через свою дочь, которой было разрешено свидание с ним. Он писал, что все чаще вспоминает о Дрейфусе. Этот осужденный, опозоренный французский офицер тоже знал, что он ни в чем не виноват.

Конечно, не берусь судить, есть ли среди живущих писателей кто-нибудь равный великому Золя, которого Анатоль Франс назвал «частицей совести всего человечества». И все же я решаюсь сослаться на письмо Хинта по одной-единственной причине. Ведь Золя защищал в буржуазной Франции не оправданного, не реабилитированного, как теперь бы сказали, а всеми судами осужденного Дрейфуса. Именно поэтому юный студент Марсель Пруст ходил от дома к дому и собирал подписи в защиту Золя и Дрейфуса. Именно поэтому Чехов писал в одном из своих писем, что Золя вырос на три головы; он доказал, что на свете все еще есть справедливость.

Таким образом, главный урок того давнего дела в том и состоит, что писательское слово крайне необходимо именно в тех случаях, когда речь идет о невинной жертве правосудия. Со сталинских времен у нас вошел в плоть и кровь и даже передается от поколения к поколению трепетный страх перед приговором суда, состоящего, как известно, из трех человек; может быть, весьма уважаемых, но все же, как и все люди, иногда ошибающихся. Если литератор уверен, что допущена ошибка, он обязан бросить на весы Фемиды свое доказательное слово. Вот почему я счел возможным вернуться к делу Хинта даже после его рассмотрения в коллегии по уголовным делам Верховного суда СССР 28 марта 1985 года. Я посвятил Хинту и его делу двадцать пять лет и склонен полагать, что знаю его лучше трех глубокоуважаемых юристов.

Теперь не стихают споры вокруг самых острых правовых проблем: когда допускать адвоката, сколько заседателей нужно — два или двенадцать. Отделять ли следствие от надзора в прокурорских сферах или же оставить все по-старому, по принципу — сам твори и сам себя контролируй,— словом, кипят страсти, высказываются самые смелые и решительные соображения. Но они очень робко касаются главной беды, от которой зависит все наше правосудие. Я имею в виду то, что называют «телефонным правом». Между тем — я уже писал об этом и продолжаю утверждать — величие и нравственное здоровье любого государства, особенно социалистического, определяются прежде всего совершенством, законностью, справедливостью его следственной и судебной системы.

Но если первый секретарь партийного комитета — от районного до республиканского — выскажет судье свое пожелание в излюбленной в таких случаях форме — «есть такое мнение»,— то судья действует уже не от имени закона, а подчиняясь, следуя этому мнению. В таких случаях, согласитесь, вся дискуссия об адвокатах и заседателях лишена всякого смысла.

Вот губительный источник произвола и беззакония. Трудно сказать, когда этот источник проник в наше правосудие, но известно, что в тридцатых и сороковых годах он превратился в широкий поток, уничтожавший все на своем пути. Одного слова или даже намека «хозяина» было достаточно, чтобы рубить не только законы, но и невинные головы. Но ведь, кроме «высшего хозяина» в Москве, были (и еще кое-где сохранились до нашего времени) властители поменьше. «Хозяин» республиканского или районного масштаба. Сразу же после его избрания он при жизни причислялся к «лику святых», олицетворял закон, право, справедливость и, конечно, мудрость, хотя иногда властолюбие и спесь заменяли ему ум. Проходили годы, даже десятилетия, и вдруг обнаруживалось то, что видели, чем возмущались простые смертные. «Телефонное право», неизменный спутник и сильное, устрашающее оружие в руках таких правителей, процветало и даже считалось само собою разумеющимся проявлением власти.

Обо всем этом у нас говорят в прошедшем времени. А не рано ли? Есть явления и общественные пороки, пережившие своих творцов. Да и нет еще общегосударственной борьбы с ними. Тем более что явления и пороки эти очень трудноуловимы, они обладают удивительным свойством — маскироваться, менять цвет и форму.

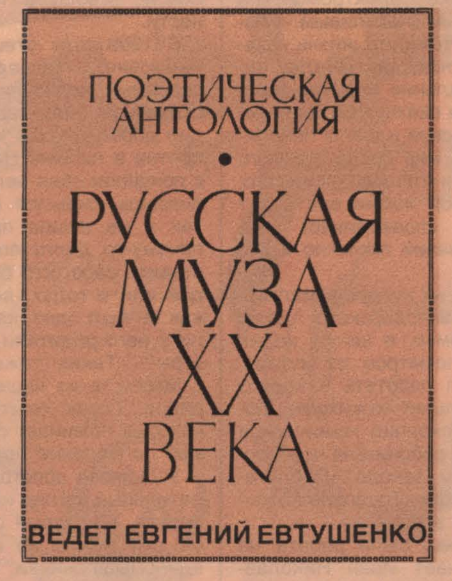
Надеюсь, что теперь, в атмосфере гласности, демократии, можно будет объявить войну и этому уродливому явлению в нашем правосудии — «телефонному праву», хотя иногда «мнения первых» передаются не только по телефону.

За последнее время много пишут о произволе, скорых судах и расстрелах безвинных людей в тридцатые и сороковые годы. Был уничтожен цвет талантливого народа, его выдающиеся сыны. И все это делалось под священными знаменами закона и справедливости.

Тем с большей мудростью — государственной, юридической, просто человеческой — по-новому надо бы взглянуть на современные трагедии, главные действующие лица которых во многих случаях продолжают играть свои роли.

Москва — Таллин.
1965—1988.

Взрыв формы в живописи, произведенный Малевичем, Кандинским, аукнулся и в поэзии. «Лесенка» Маяковского неотрывна от раннего кубизма. Не случайно Кандинский выступал как поэт в манифесте футуристов «Пощечина общественному вкусу» со стихотворением, которое мы приводим. Но были и те, кто считал футуристов слишком консервативными. Так, например, в своей «Хартии экспрессиониста» Ипполит Соколов заявил в 1919 году: «Великий футуризм, вождем которого в Италии был Маринетти, в Англии — Эзра Паунд, во Франции — Гильом Аполлинер и в России — Владимир Маяковский, теперь великая навозная куча». Лидеры «фуистов» Николай Лепок и Борис Перелешин так себя рекламировали в 1923 году: «Ни зги на российских эстрадах, придавленных копытами всяческих имажинистов». Сейчас это смешно читать. Декретом от 17 апреля 1921 года ростовского «творничбюро» Российского Становища Ничевоков объявили «восстание за Ничего». К ростовчанам Сусанне Мар (будущей известной переводчице), Рюрику Року и др. примкнули московские экспрессионисты, и среди них Борис Земенков. Ничего не пишите! Ничего не читайте! Ничего не говорите! Ничего не печатайте! Движение «ничевоков» в наши дни



аукнулось в Латинской Америке — «надаисты» от слова «нада», то есть ничего. Их возглавлял колумбийский поэт Гонсало Аранго. Наталия Бенар просверкнула недолгой звездой эстрады Политехнического. Особое направление, связанное с идеями философа-идеалиста Федорова и Циолковского, представляла группа биокосмистов, среди которых были и поэты, и художники. Они проповедовали веру в возможность победы человечества над смертью. Любопытную и несколько забавную надежду на спасение человечества от кровавых боен «путем анабиоза, убивающего микробы ненависти» предложил Александр Ярославский. Антология русской музы XX века, на мой взгляд, в известной степени должна быть и антологией экспериментов. Конечно, не все эксперименты в конечном счете удаются, но без них невозможно сохранение традиций, ибо замкнувшийся в себе подражательный классицизм ест поедом поэзию. «Авангардисты» необходимы для развития формы, для взбаламучивания застоявшейся, цвелой воды. Оговорюсь, однако, что слово «авангардисты» я не случайно взял в кавычки. Классицистка Ахматова художественно оказалась в конечном счете куда более авангардной, чем все «фуисты» и «ничевоки», ибо она прямо, а не косвенно оказалась футуристкой, то есть вырвалась в будущее.

Василий КАНДИНСКИЙ

1866—1944

ПОЧЕМУ?

«Никто оттуда не выходил.
«Никто?
«Никто.
«Ни один?
«Нет.
«Да! А как я проходил мимо, один все-таки там стоял.
«Перед дверью?
«Перед дверью. Стоит и руки расставил.
«Да! Это потому, что он не хочет никого впустить.
«Никто туда не входил?
«Никто.
«Тот, который руки расставил, тот там был?
«Внутри?
«Да, внутри.
«Не знаю. Он руки расставил только затем, чтоб никто туда не вошел.
«Его туда поставили, чтоб никто туда внутрь не вошел?
«Его туда поставили, чтоб никто туда внутрь не вошел?
Того, который расставил руки?
«Нет. Он пришел сам, стал и руки расставил.
«И никто, никто, никто оттуда не выходил?
«Никто, никто».

Наталия БЕНАР

1902—1940

* * *

Лишь одно из груды недомолвок,
На покой и волю не меняй,
Проще рощ, и соловья, и Сольвейг,
Слаще звезд: не покидай меня.—

Точно в ад, в шальной и звездный улей
Поцелуев, под ливень глаз,
Загнанная ночью, убегу ли,
Перебежчица любви, в последний раз.

1922

Семен ТИХОНОВ

ЛАВОЧКА БЕССМЕРТЬЯ
(Фрагмент)

...Когда я раньше видел гнусных
В полотнах жизненных зевот,
Я думал радостно и вкусно:
«Быть может, завтра он умрет!»
...Пусть бунта гневную крамолу
Скорей швырнут в лицо судьбе —
О, человеческая сволочь,
Ужель бессмертие тебе?!

Рюрик РОК

АГА...

Напрасно бьетесь вы в извивах:
Настанет всех час сумрачной тоски;
Напрасно ловите счастеньешей игривых —
Старуха Вечность вяжет исстари носки.

Уж так стара, что лишь вязать и может.
И вяжет, вяжет и бормочет какие-то слова,

Она, она тоску умножит —
И будет вязать: она всегда права.

Напрасно давитесь тоской своею склизкой,
Скребете криком старенькую дверь:
Она всегда, всегда вам будет близкой,
Она и смерть.

1918

Борис ЗЕМЕНКОВ

1902—1963

ХОХОТЫ

Есть хохоты, хехоты, хахоты,
Есть угрюмые низколобые хухоты.
Переваливаются — щеки, как под плугом пахота,
И прыгают морщинки, как ребенок в дне тахты.

Щелки глаз засыпает щек пюре,
А потом в стены: хахаются и хихаются.
Если есть усы, то, как пьяный кюре,
Над канавой рта барахтаются.

Есть такие, как черствые корки,
Пережевывают серые губы,
Смущенно подбирая морщинок сборки
Прямо под пляшущие открытки — зубы.

Есть гудят тела, как сплошные самовары.
Есть падают в слизливом бульоне зрачков майские жуки.
Плавают зрачки, как кусочки сала в густом наваре,
Ресниц бечевками подтягивая кверху синеватые мешки.

Прыгает на стол для отдельного танца.
Десна это.

В комнате один бродящий квас.
И всякий стоящий за дверью знает,
Что долго еще расплываются спасательные круги глаз.

Май 1919

Александр ЯРОСЛАВСКИЙ

ИЗ «ПОЭМЫ АНАБИОЗА»
(Фрагмент)

...Каждый живущий свят,
Если даже он глуп бесконечно,—
На жизнь выдает мандат —
Вольнолюбивая вечность.

...Как можем завтра мы
Начать величье строить
На тушах государств, религий и церквей,—
Когда изъязвлены мещанства серым гноем
Сердца тупых и загнанных людей?!

И если мы начнем — безликая громада,
За темными бессмысленно взметясь,
Уткнется рылом в мировую грязь —
И скажет нам озлобленно: — Не надо!

И вот, затем, чтоб никого не убить,—
Заморозим весь мир в государств буржуазной казарме,
Это проще и легче, чем в кровавый комок превратить
Десятки и сотни живых человеческих армий.

Дружеская рука Анабиоза
Великолепна в гуманитарной роли!
Из сердца человечества заноза
Вынимается легко и без боли.

...Эй, бессмертья дети,
Приходите на помощь к нам!
Мы, операторы столетий,—
— Подобны вселенским врачам.

От Нью-Йорка до Петербурга —
Величья единый мост,
Осторожная рука хирурга
Срежет кровавый нарост.

Ипполит СОКОЛОВ

ПАРИЖ
(Фрагменты)

Выутюженные брюки асфальта,
Скунс трав Булонского леса.
Чья-то грудь нежней, чем небо на острове Мальта,
Чья-то грудь приподнята над морем, как Одесса.

Но павлиний хвост ресниц
Распускался, как веер пальцев у Ван Гога.
Эйфелева башня, этот длинный шприц
С 606 в руке Бога.
А в тонких кишках метрополитена
Переваривалась кашица тел.
Паровоз со лбом Ипполита Тэна.
У него стальной камзол под мышками вспотел.

1919

Начало на 2-й стр. обложки.

— Конечно,— с готовностью отзывается егерь,— раньше к концу августа — началу сезона, как к празднику, готовились, всё подчищали, убирали, ожидая гостей. А сейчас никого нет, помрачнело...

Кому помрачнело, кому посветлело — другой вопрос. Почему-то именно здесь вспомнилось то заседание пленума обкома партии, на котором впервые открыто снизу прозвучала не критика, а требование освободить от работы первого секретаря Астраханского обкома КПСС. Судя по стенограмме заседания, лопнуло у людей терпение.

Конечно, трудно поверить, что двадцать лет назад на должность первого в области человека был назначен неопытный, равнодушный, недалекий... Так не бывает. Другое дело, что за эти годы растерял Леонид Александрович Бородин лучшие качества партийного работника, сросся с системой, стал ее неотделимой частью. И плыл по течению на теплой волне неподотчетности и бесконтрольности, куда все плывут... То ли сразу в коммунизм, то ли пока в эпоху развитого социализма. За цветистыми лозунгами тех времен суть улавливалась трудно, цель тем более. Это только сейчас видно, куда приплыли...

Перестройка открыла людям глаза, научила их называть вещи своими именами. Почему же тогда большинство выступавших на пленуме стало на защиту Бородина? Были среди них не только угодники и подхалимы (хотя и такие, безусловно, были), но и честные, думающие коммунисты. Они, что, не видели, что при Бородине область дошла, как говорится, до ручки?.. Видели, конечно! Но как же, живуч еще в нас синдром слепого поклонения авторитету власти, авторитету должности, а не личности человека. Не на почве ли нашей рабской бездумности вырастали дутые лидеры с липовыми заслугами и достижениями, которые при ближайшем рассмотрении лопались как мыльный пузырь и оказывались равными нулю?

— Хорошим ли был охотником Брежнев? — спрашиваем у егеря.

— Очень хороший...

— А каков был человек?

— И человек хороший — душевный, сердечный.

— Не от этой ли сердечности колбаса в магазинах стоит девять рублей за килограмм?

— Колбаса — это безобразие,— соглашается егерь,— вообще-то я зимой в городе живу и вижу, до чего докатились...

От рабского чинопочитания сейчас излечиваются самые неизлечимые. Народ весьма придирчиво следит за действиями нового первого секретаря, критически их осмысливает и не торопится с аплодисментами. Слишком долго морочили людям голову, обещая воздушные замки, молочные реки и кисельные берега. Но не одобрение в первую очередь необходимо Дьякову. Как сделать каждого не сторонним наблюдателем, а активной, действующей единицей, как заставить каждого засучить рукава, почувствовать вкус борьбы за новую жизнь? Ведь борьба эта только начинается.

Как-то в разговоре Иван Николаевич с горечью обмолвился: «Самое страшное — это накопившиеся в народе апатия и равнодушие. Иногда просто хочется крикнуть во весь голос: да проснитесь вы наконец, астраханские вольные люди!»

ОДЕРЖИМОСТЬ

...Когда-то было начало шестидесятых годов, заводской комсомольский вожак Ваня Дьяков, искрящееся под солнцем море и загорелые новороссийские девчонки, была молодость! Это сейчас Иван Николаевич сидит в своем кабинете в модных очках и строгом костюме, а тогда не ходил — бегал по цехам в спецовке электромонтера и считал себя самым счастливым человеком на свете, потому что жизнь казалась простой и ясной, как умытые весенним дождем дальние морские горизонты. Как чисты и святы в своей наивности были юношеские идеалы поколения, входившего в мир после сурового военного детства и твердо верившего, что в новой мирной жизни все будет только светло и справедливо! Увы, сколько разочарований постигло и это поколение!

Родился Дьяков на хуторе в маленькой станице Краснодарского края, в крестьянской семье, в школу ходил пешком, семь километров от хутора, а в 15 лет пошел работать в колхоз наравне со взрослыми мужиками. Потом снова учился, окончил техническое училище, трудился рабочим на новороссийском цементном заводе «Пролетарий». Так что в графе «Трудовое воспитание» у него все в порядке.

— Хорошие у нас были ребята на заводе,— вспоминает Иван Николаевич,— до сих пор помню комсомольское ядро — два Ивана — Теленьга и Лысенко, Римма Лихоглядова, Владимир Пикуль, Валентина Буц... Я работал монтером и был неосвобожденным секретарем. Самые лучшие мои годы... Сколько было в нас яростной энергии, страсти, вдохновения, желания все перевернуть по-своему, своими руками! И гордились, что завод наш носит имя «Пролетарий». Это истоки... Если чего-то добились мы в жизни, то только благодаря пролетарской закваске, рабочей идеологии — она самая мудрая и справедливая, она отсекает эгоистов, захребетников, нечистых на руку. Помнится, мы шутили: с нашего завода, кроме профессиональной болезни — силикоза, чего еще вынесешь?

Слушаю я своего собеседника, и невольно возникает вопрос, без которого, наверное, не обойтись: а вот вы, Иван Николаевич, новый человек, как оцениваете качественный состав аппарата областного комитета, много ли среди ваших подчиненных тех, кто прошел, как и вы, не для галочки в анкете, а по-настоящему «рабочие университеты», все ли уверены, что им доверена не только должность, а в первую очередь право работать для людей, все ли компетентны, честны перед собой и тверды в убеждении, что перестройка — единственная возможность повернуть жизнь в новое русло? Ведь, если говорить откровенно, не один же Бородин развалил область...

— Для начала скажу, что буквально через несколько дней после того, как заступил на эту должность, пять руководящих работников обкома положили на стол заявления с просьбой отпустить на пенсию. Но не в этом дело... Утверждать, что наши ряды безупречны во всех отношениях, значит идти против истины. Буду говорить об этом с болью, но откровенно: безусловно, есть среди работников партийных аппаратов случайные люди — карьеристы, интриганы, мелкие завистники, любители всяких «канцелярских страстей». Есть и такие, кто до сих пор всерьез полагает, что обком, горком, райком — «теплое местечко», где можно удобно и сытно пересидеть. Считаю абсолютно неприемлемыми для партийного лидера такие качества, как вождизм, чванство, самолюбование... Не первый день живу на свете и вижу, как иной партийный функционер уже не идет, а, что называется, несет себя, сгибаясь под грузом собственной значимости. Попробуй до такого достучись...

Как лечить людей от душевной проказы? А зараженные ею есть, и их немало. И не с Луны, и не с Марса свалились они нам на голову, а воспитаны в нашей среде, вышли из наших рядов. Иной раз ощущаешь боль страны, как свою личную, другой раз приходишь к пониманию, что и твое личное горе в определенной степени — беда всей страны. Одна из таких бед, которая тревожит наиболее совестливых в отдельности и все общество в целом,— всеобщее падение нравственности.

В 1969 году отец Дьякова Николай Акимович, прошедший всю войну, скромный колхозник, выписывался из станичной больницы. Вечером переходил дорогу, чтобы купить папиросы напротив в ларьке. Налетевший грузовик с прицепом сбил человека и, не остановившись, скрылся из глаз — милиция так и не нашла преступника. Дьяков почему-то долго потом пытался представить себе, кто был за рулем: молодой или в годах, высокий или низкий, как он был одет, как причесан? А есть ли у него родители, дети, братья и сестры?.. Такие тоже не с Луны и не с Марса, а из нашей среды, из наших рядов. Горек опыт, печальны плоды, которые пожинает общество, допустившее ослабление нравственных норм.

У Дьякова обостренный, но доброжелательный взгляд на людей. В большом походе, в который он сейчас отправился, ему нужны не попутчики — нужны единомышленники. Ему нужны не те, что работают, чтобы жить, а те, что живут, чтобы работать. Партийный лидер сегодня должен быть в какой-то степени одержимым, слишком велики завалы, оставшиеся от времен застоя, их надо разгребать, и времени на раскачку нет.

Кредо Дьякова формулируется лаконично: искать полезных людей. Понимать это надо так, что в принципе заставлять кого-то работать невыгодно... Искусство состоит в том, чтобы угадать возможности человека и максимально использовать его потенциал, при этом необходимо найти точку пересечения интересов личных и интересов дела. Конечно, для этого требуется талант руководителя, но только при этих условиях возможен результат. Подбор кадров — одно из важных звеньев в политической реформе, которую в масштабах области сейчас осуществляет первый секретарь.

Всю жизнь кандидат экономических наук Иван Николаевич Дьяков учился. После технического училища, занимая различные должности и посты, заочно окончил индустриальный техникум, Одесское высшее мореходное училище, Академию общественных наук при ЦК КПСС. Учился не только в учебных заведениях, но и у старших, более опытных товарищей. Аккумулировал в себе все лучшее, созданное коллективной мудростью Партии. Теперь, когда пришли знания, опыт, зрелость, а кровь будоражит неуемное, бешеное желание действовать и созидать, очевидно, настала пора отдавать долги.

ДОВЕРИЕ

Партийные лидеры сегодня — как генералы в блиндажах переднего края. За ними — стратегия и тактика борьбы, за ними — умение развернуть в цепь самых стойких и надежных. Но и от них лично требуются высокие духовные качества — принципиальность, объективность, искренность...

Проблема проблем для Астраханской области — строительство жилья. Свыше 52 тысяч человек только в Астрахани стоят в очереди на улучшение жилищных условий, к 2000 году здесь предстоит соорудить 8 миллионов квадратных метров жилой площади — фактически построить еще один город, равный областному центру. Как решить эту задачу? Без учета реальной обстановки, чисто автоматически эта задача неразрешима.

В поселке Кирикили на окраине Астрахани сейчас создается крупный промузел стройиндустрии. Строительство жилых домов в ближайшее время будет поставлено на поток. Но астраханцы должны знать, что значительно возросшие мощности требуют дополнительных людских ресурсов. Заинтересованным, как говорится, карты в руки. Дьяков не устает разъяснять людям, что спасти положение можно только с помощью расширения строительства жилья хозяйственным способом, повсеместного создания молодежных жилищных кооперативов, индивидуального строительства. Решать самую острую социальную проблему надо всем миром.

В местном краеведческом музее попался на глаза плакат 30-х годов. На нем изображен гигантского роста рыбак, шагающий с перекинутым через плечо здоровенным осетром навстречу заводским трубам и домнам. Подпись внизу гласит: «Ускорим строительство социализма — дадим рыбу пролетариату индустриальных центров». В шутку спросил у Дьякова: «Дойдет ли когда-нибудь рыбак до пунктов назначения?»

Иван Николаевич ответил не сразу, помолчал, видно, вопрос оказался не из легких:

— Скажу откровенно, что пока для меня здесь много непонятного... О каких можно говорить индустриальных центрах, если за все эти годы рыбак от дельты Волги и до Астрахани еще не дошел. И, наверное, никогда не дойдет... С одной стороны — абсолютная государственная монополия на красную рыбу, с другой — полное пренебрежение элементарными экологическими условиями для ее сохранения и воспроизводства. Не буду говорить подробно — пресса об этом довольно широко пишет. Скажу только, что для меня это пока недостаточно изученный участок работы. В первый день своего приезда в Астрахань увидел прилавки магазинов, заваленные осетровыми головами. Выходит, туши и икру продаем за валюту, а своих граждан кормим тем, что в пору выбрасывать... Согласитесь, есть что-то в этом оскорбительное, унижающее наше национальное достоинство.

Долгие годы в Астрахани продавали рыбу из-под полы. И сейчас в людных местах предлагают по спекулятивной цене леща, воблу, другие породы. Удивляться здесь нечему — в области зарегистрировано 70 тысяч индивидуальных плавучих средств. По инициативе Дьякова впервые горисполком дал разрешение торговать рыбой на рынке. Удобно покупателям и тем, кто решил продать излишки,— спекулянт и браконьер на рынок не сунутся.

А вообще Иван Николаевич мечтает о развитом и хорошо обеспеченном кормовой базой прудовом хозяйстве. Будут в колхозах пруды — в изобилии появится рыба на прилавках астраханских магазинов, да и индустриальные центры внакладе не останутся. У хорошего хозяина нынче развязаны руки. И не случайно обком партии ориентирует людей на самостоятельность, социалистическую предприимчивость. Надо учитывать климат и громадные площади засоленных почв, которые после многократных засевов арбузами не будут плодоносить в течение нескольких десятков лет, поэтому ставится вопрос развития давно забытого овцеводства, надо наконец-то научиться реализовывать то, что научились производить. Вспомнил Дьякова уже в Москве, когда увидел у станции метро полные арбузов машины с астраханскими номерами. Впервые хозяйства области на арендованном транспорте сами продают свой урожай.

Отнюдь не розами усыпан путь лидера. И нет пока на его счету громких побед и крупных завоеваний. Есть надежда людей, доверивших сегодня первому секретарю свою веру в перестройку. Не нам судить, плох или хорош Дьяков, об этом, когда придет время, скажут сами астраханцы. Но есть приметы нового, происходящего на этой земле. Это ставший привычным для горожан «прямой провод» связи с обкомом партии, ожившие рынки и выездные заседания облисполкома на местах, только что открытые специализированные магазины для инвалидов и участников войны и улучшающееся с каждым днем транспортное обслуживание... Это и буйно разросшаяся трава сквозь бетонные плиты той самой площадки, которая еще сравнительно недавно принимала одновременно три вертолета.

Астрахань — Москва.

Н. М. НЕДБАЙЛО. Род. 1940.
ХОРОШЕЕ НАТУРАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. 1974.

БЕСЕДА. 1972.

Художник с Масловки

В мастерской художника Николая Недбайло я попал, я погрузился, я окунулся в сказочный мир России, преображенный любящим юмором художника. Сколько света, сколько красок, сколько простосердечия, даже если этот застолец и явно привирает, рассказывая какую-то историю! Так ведь не из корысти привирает, а чтоб интересно было посидеть, поговорить о чудесах жизни!

Все картины художника — это свет юмора и юмор света. Картины, рожденные улыбкой художника, невольно вызывают нашу ответную улыбку. Сила Николая Недбайло в этой бесконечно подтрунивающей, озорной, детской, родственной любви к своим персонажам. Правдивость и мастерство в абсолютной верности условиям игры, которые художник, радуясь и радуя нас, перед собой поставил. Вот оно, обаяние щедрости и простоты. Легко ли это ему далось? Не знаю. Художник не приоткрывает и не навязывает мне свои трудности. Так и должно быть.

Фазиль ИСКАНДЕР



Как-то, лет десять назад, майским вечером, торопясь домой, шел я по Верхней Масловке. И, подходя к серой, в стиле тридцатых годов, коробке дома художников, увидел одиноко горящее на шестом этаже огромное окно его мастерской.

— Заходи! — отрывисто и мрачно бросил Недбайло.— И чтобы ни-ни! — Рубаха на нем была мокрой от пота, рукава засучены, фартук заляпан белилами. К стене был прислонен большой мраморной белизны холст (он никогда не пользуется мольбертом). Несколько палитр по колерам лежали рядом, возле них ощетинившиеся кистями и ма-

стихинами банки, тюбики красок, как патроны перед боем, аккуратными рядами. Недбайло, поглаживая коротко стриженную бородку и кося глазом на холст, что-то торопливо шептал себе под нос. Вдруг он застыл перед ним, как хирург перед операцией. Лицо осветилось изнутри, и он воскликнул: «Елочки! Вот оно!» Схватив тонкую кисть в левую руку, правую заложив за спину, не замечая меня, даже вовсе забыв, что я в мастерской, уверенно и быстро стал заполнять белую поверхность тут же рождающимся рисунком.

«А помнишь, как все началось?» — спросил я. «Еще бы!»

Как сейчас перед моими глазами Беговая улица, библиотека имени Фурманова, февраль 1965 года, вечер молодых поэтов. Сдвинули столы, получилась эстрада. Все стены были завешаны картинами. В центре написанная Недбайло афиша о том, что «СМОГ» — это Смелость, Мысль, Образ, Глубина. Сколько народу собиралось!

В распахнутом окне, над морем крыш розовело утро, внизу шумел яблоневый сад, звенели первые трамваи, рассыпая на мостовую снопы голубых искр. Ветер шевельнул холщовые занавески и внес в наш разговор настрой исповедальности и понимания с полуслова.

— А ведь я и в ссылке вот так же рисовал как одержимый,— сказал вдруг Николай.

Да, друзья только ахали, когда он присылал оттуда пачки рисунков. Это было в марте 1966 года. Ссылка была «тунеядской», как у ленинградского поэта Иосифа Бродского, по этапу, «за вдохновением». Но уже в октябре того же года с помощью справок о заработке, собранных адвокатом Г. Н. Устиновым, решением президиума Мосгорсуда Недбайло был оправдан и возвращен в родные пенаты.

Недбайло сломал кисть, бросил в ведро и заговорил словно пулеметными очередями:

— Жил я тогда в чудовищной коммуналке.



НАШИ ГУЛЯЮТ. 1986.

Однажды мартовской ночью ко мне постучали. В дверях стоял участковый, за спиной... четверо понятых.

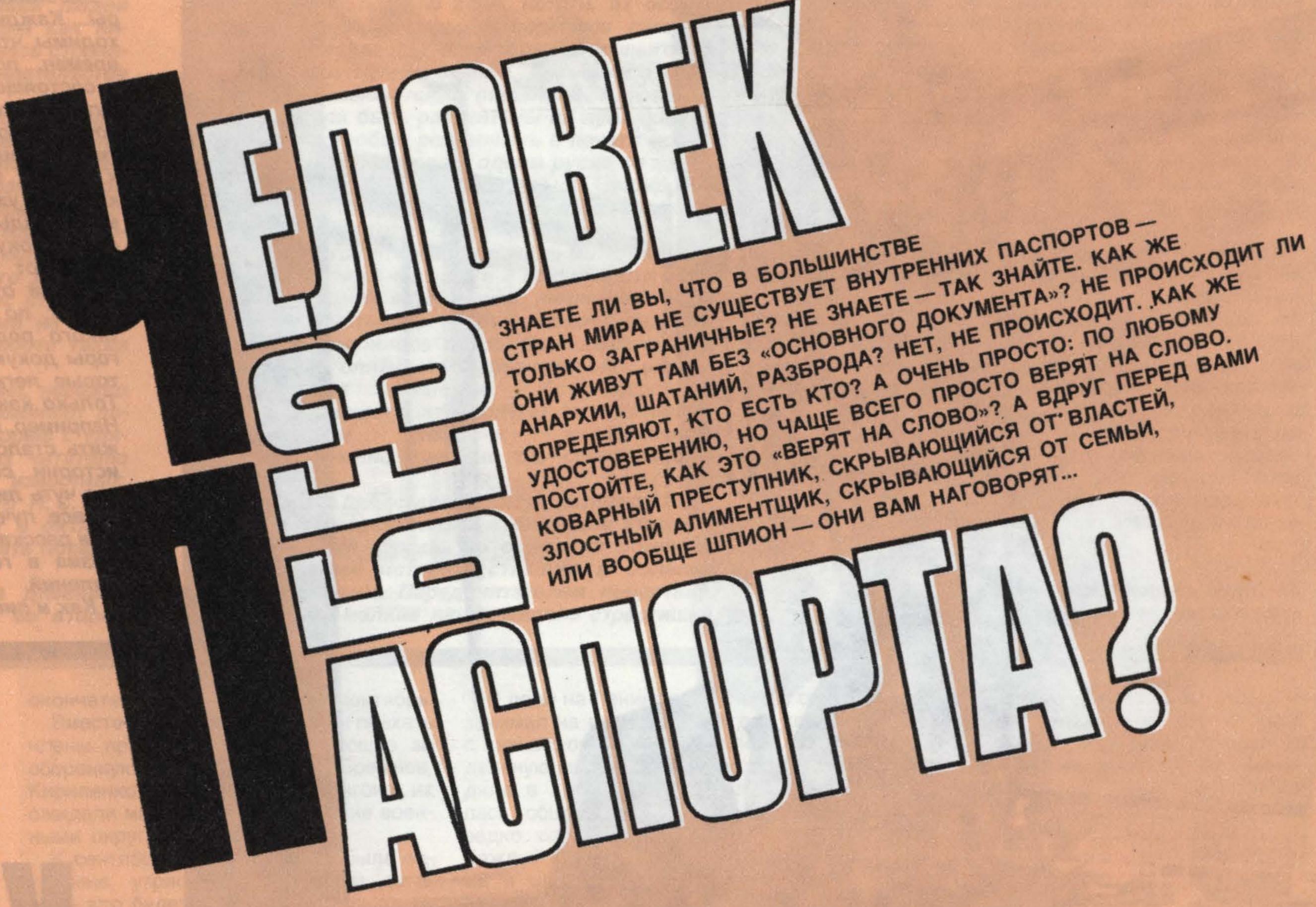
Суд был показательным. Настоящий спектакль под названием «Расправа над тунеядцем». Так называемых «свидетелей» против художника было много, за — ни одного... даже мать не предупредили о том, что арестован и судим. «Четыре года исправительных работ. Решение суда обжалованию не подлежит». Зал одобрительно зашумел: «Так им, тунеядцам, и надо. Пусть сначала работают, а потом уж мажут свои картинки». И в детстве шипели на него: «Безотцовщина, шпана!» Конечно, были и рогатки, и игра в расшибалочку, и выбитые мячом стекла. А у кого их тогда не было, в то послевоенное детство! Да и поступив в 1956 году в Московское художественное училище памяти 1905 года, он был такой же неуправляемый и неровный. Порою, забывая о занятиях, пропадал на вокзалах, в зоопарке, на площадях. Изводил горы бумаги. С тех пор Недбайло стал участником девяти выставок, организованных МОСХом, а персональных выставок у него было около 250...

Родители художника — Михаил Иванович Недбайло и Нина Васильевна Кашина — окончили ВХУТЕМАС и входили вместе с Мавриной, Кузьминым и другими в известную группу «Тринадцать». Думаю, что звонкость красок на полотнах Недбайло — это наследственное, от предков по линии матери, потомственных пермских богомазов. Отчасти на его творчество повлияли ранний Шагал, Рерих, Нестеров. Сказались впечатления от поездок по Карелии, Средней Азии, Сибири, русскому Северу...


ПАСТУХ ИГНАТ. 1986.

Владимир АЛЕЙНИКОВ

Виталий ВИТАЛЬЕВ




Да, некоторый риск есть. Но доля преступников, алиментщиков и шпионов в массе честного и ни от кого не скрывающегося населения столь незначительна, что из-за них просто нелепо разводить громоздкую паспортную канцелярию. Слишком много чести...

Капиталисты при всех их историко-материалистических недостатках обладают одним несомненным достоинством: они умеют считать. Вот они взяли и подсчитали, что затраты на поимку всех скрывающихся преступников, алиментщиков и шпионов не составляют и тысячной части стоимости поголовной паспортизации населения. Подсчитали и отменили внутренние паспорта.

Отменили и говорят теперь: вот видите, у нас общество построено на доверии, а вы, дескать, только повторяете, что у вас человек человеку — друг, товарищ и брат.

Тут, конечно, господа капиталисты слегка загнули (оставим это на их совести): какое у них доверие — одна голая калькуляция, да к тому же ребята из ФБР и прочих интересных организаций не дремлют — тут вам и электронные досье чуть не на каждого из граждан, и подслушивающие устройства и т. д. и т. п. Но надо признать, что и у нас с доверием пока не очень. А жаль. Где, как не при социализме, доверие должно быть основой всех взаимоотношений?

Нам с вами все время не доверяют. Не доверяют в гостиницах, придирчиво сличая паспортные фотографии с утомленным оригиналом, тупо вчитываясь в отметки о браке или разводе. Не доверяют в библиотеках, заставляя сообщать о себе столько сведений, будто не пару книг хотите вы пролистать, а устраиваетесь на работу в Министерство обороны. Как-то раз, записываясь в библиотеку одного дома отдыха, я написал в графе «национальность» библиотечной анкеты «скиф», а мой сосед по комнате — «половец». И что же? Прошло!

Кстати, в Соединенных Штатах Америки закон запрещает не то что анкетировать читателей библиотек, но и вести учет книг, которые они читают. Любой человек «с улицы» может зайти в библиотеку, невзирая на свою национальность, может листать любую книгу, и никто ему слова не скажет... И что же, не воруют? Нет, не воруют. При выходе стоит электронный контролер, который не пропустит вас, попытайся вы вынести книгу, какой бы национальности вы ни были...

А уж об анкетах для выезда за границу я и вовсе молчу. Вот где квинтэссенция упрямого, пещерного недоверия! Пункт 15: «Были ли вы за границей, где, когда, да и с какой целью?» Если «был» — это хорошо или плохо? Был и вернулся — значит, хорошо, так, что ли? «Имеются ли у вас родственники за границей?» Так и хочется ответить: а вам какое дело? А «девичья фамилия жены»? Это уж совсем ни в какие ворота. Но никуда не деться: указываете, ибо кто-то там, «наверху», убежден, что девичья фамилия вашей супруги может оказать решающее влияние на ваш моральный облик... Сейчас анкеты эти стали короче. Но ни в чем не повинные граждане продолжают аккуратно выводить: «Нет», «Не был», «Не участвовал». Каждый такой ответ звучит как «не виноват». Но как быть с презумпцией невиновности? Будто кто-то большой и сильный топает на вас ногами и хмурит брови.

Вернемся, однако, к «молоткастому и серпастому», а точнее, к той информации, которая содержится в нем. Есть в языкознании такой термин — «советизмы». Сразу оговорюсь, что ничего антисоветского в этом слове нет. Напротив, так лингвисты называют наши с вами реалии — те слова, которые не имеют аналогов в других языках и при переводе должны передаваться описательно. Наряду с такими словами, как «спутник», «колхоз», «перестройка», к «советизмам» относятся и такие термины, как «авоська» («сумка на всякий случай»), «достать» («купить с трудностями»), «прописка». Да-да. Наша с вами привычная и родимая прописка — без всяких кавычек — является начисто советским явлением. В западных изданиях это слово обычно переводят как «регистрация по месту жительства».

Прописка — основа нашей паспортной системы. А так ли она необходима? Ведь в «регистрации по месту жительства» слышатся отголоски не только сталинизма, но и крепостничества. Какая уж там свобода, если в пункте 26 Положения о паспортной системе прямо сказано, что «регистрация граждан, прибывших из одной местности в другую на срок до полутора месяцев, производится не позднее 3-дневного срока со дня прибытия...». А в пункте 34 этого же Положения и вовсе заявляется, что «граждане, проживающие без прописки... подвергаются... штрафу». Вот тебе, бабушка, и свобода передвижения!

Сторонники прописки утверждают, что стоит только освободить народ от «регистрации», как он весь без остатка хлынет в большие культурные центры с их метрополитенами, цирками и «варенкой», начисто оголив сельскую местность и рабочие поселки. Но наш известный экономист и демограф Виктор Переведенцев заключил недавно в газете «Московские новости», что многие городские жители с удовольствием выехали бы временно в какую-нибудь тихую глухомань или на ударные стройки, если бы не боялись утратить при этом свою «престижную» прописку.

Регистрацию по месту жительства можно (и нужно) отменить без всякого ущерба для страны, напротив, с великой для нее пользой — такой вывод делает ученый.

Что же до жилищного кризиса, который, как утверждают некоторые, породил прописку, то скажем следующее: прописка не порождение, а всего лишь отражение жилищной ситуации в стране. Между ней и нехваткой жилья нет причинно-следственной связи. Утверждать обратное — все равно что пытаться изменить характер человека, ретушируя его фотографию.

Пойдем дальше. Какие еще «полезные» сведения несет в себе наш паспорт в его внутреннем варианте?

Помните, у Маяковского: «читайте, завидуйте: я — гражданин». Но это о паспорте заграничном. Во внутреннем же есть графа «национальность». Так что выходит: читайте, завидуйте: я — караим. Или русский. Или украинец...

Сколько копий (и судеб) сломано об эту упрямую графу. Причем начинается не с паспорта, а уже со свидетельства о рождении. Еще человечек в ползуночком, можно сказать, состоянии, а в зелененьких — цвета молодой травки — «корочках» уже фигурируют национальности обоих родителей. Зачем?

Попробуйте спросить у жителя Соединенных Штатов Америки любого цвета кожи и разреза глаз, кто он по национальности. «Американец» — таков будет ответ. Иного ответа на этот вопрос вы не услышите. Другое дело, если поинтересоваться происхождением. Тогда вам ответят: ирландец, индеец, еврей... Национальность и происхождение — чувствуете разницу? Она примерно такая, как между самим человеком и его паспортом.

Позвольте, скажут бдительные товарищи, но ведь у нас — многонациональное государство. Не запутаемся ли мы, не лишимся ли корней, не превратимся ли в безликое стадо, если уберем из паспорта эту графу?

Что на это можно ответить? Плохо, если национальность начинается и заканчивается записью в паспорте. Это понятие куда шире пресловутого пункта. Оно в душе, в памяти, в совести...

Убрать из повседневной жизни графу «национальность» — это и будет по-настоящему интернациональный подход.

И прецедент уже существует. Он — в нашем советском заграничном паспорте, где все мы, невзирая на ПРОИСХОЖДЕНИЕ, именуемся гражданами Советского Союза. «Читайте, завидуйте»!

...С пропиской и национальностью вроде понятно. Но как быть со штампом о семейном положении? Не захлестнет ли страну, отмени мы паспорта, волна полигамии, не начнут ли отдельные любвеобильные граждане обзаводиться гаремами, не станут ли заселять один и тот же гостиничный номер не со спутницей(ком) жизни, а со случайной знакомой(мым)? Да, станут. Станут останавливаться в одних и тех же номерах не состоящие в браке особы противоположного пола — из тех, что не опасаются СПИДа. Кому от этого будет хуже (или лучше), кроме них самих? И разве реально перебороть мощные инстинкты продолжения рода с помощью наличия (либо отсутствия) штампа в паспорте? Это по меньшей мере наивно... Было бы побольше гостиниц! Насчет гаремов и полигамии. Думаете, при нынешней паспортной системе у нас нет многоженцев? Зайдите в ближайшее отделение милиции — и вам расскажут. В конце концов штамп в паспорте характерен тем, что при желании его можно: а) подделать, б) стереть без остатка... Для поимки же многоженцев (и вообще преступников) существуют отпечатки пальцев, которые не фальсифицируешь, вещественные доказательства и даже хитрая наука одорология, позволяющая устанавливать личность с помощью запаха, который каждый из нас издает.

Итак, что же осталось при ближайшем рассмотрении от «основного документа»? Обложка? Многомиллионная канцелярия да еще ничем не измеримые затраты на никчемный труд паспортисток и паспортных столов? Повседневное унижение каждого из нас: будто кто-то недоверчивый все время за нами присматривает?..

«Человек без паспорта» — эти слова прочно увязаны в нашем сознании с жуликом Паниковским либо, пуще того, с обаятельным шпионом из одноименного кинофильма. У старшего поколения они вызывают более печальные ассоциации о «беспаспортных (и даже «беспачпортных») бродягах» эпохи «борьбы с космополитизмом». Но давайте сравним два словосочетания: «человек без паспорта» и «человек с паспортом». Что добавляют как в одном, так и в другом случае последние два слова к понятию «человек»? Если отречься от стереотипов, то ровным счетом ничего. Ибо нет ничего выше и достойнее слова «человек», которое само по себе звучит гордо.

Дневники, свидетельства очевидцев, мемуары... Каждый историк знает, насколько они необходимы, чтобы почувствовать дыхание минувших времен, понять психологию отдельных людей и состоящего из них общества в целом, проникнуться духом подлинного историзма. Только так, собственно, и можно оценить исторические события и процессы с максимальным приближением к истине. Особенно это важно для тех из них, которые уходят в глубь веков: ведь чем дальше мы оглядываемся назад, тем меньшим количеством документов располагаем.

Но вот парадокс! Оказывается, период, отстоящий от современности лишь на 50, 40 или 20 лет, по сути дела, не может быть понят без такого рода источников, хотя имеются просто горы документов. Документов официальных, которые легко найти, пролистав подшивки газет. Только какова цена многих из этих документов? Например, повествующих, что «жить стало лучше, жить стало веселее» в самые трагические годы истории советского общества. Доказывающих, что чуть ли не десятая часть населения, живущего все лучше и веселее, стала врагами народа. Или рассказывающих об успехах развитого социализма в годы застоя и нарастания кризисных явлений.

Как и письма на бересте, найденные археолога-



1962 год. Н. С. Хрущев в рабочем кабинете в Кремле.

ПЕНСИОНЕР СОЮЗ

Сергей ХРУЩЕВ

Часть I

Кончилось лето. Стало прохладнее, на деревьях зажелтели листья. Подходил к концу десятый год пребывания Хрущева на высшем партийном посту Первого секретаря ЦК КПСС.

Ушли в прошлое хлопоты об урожае 1964 года, поездки по сельскохозяйственным районам, поскольку отец своими глазами хотел увидеть, как обстоят дела. Он никогда безоглядно не полагался на доклады секретарей обкомов.

Хороший урожай был очень нужен, ведь в прошлом году из-за засухи хлеба не хватило и пришлось закупать зерно в Соединенных Штатах за золото.

Закончились и намеченные на 1964 год зарубежные поездки — в Объединенную Арабскую Республику, где его тепло принимал президент Насер, в Скандинавские страны.

Осенью отец надеялся отдохнуть, как-то собраться с мыслями и наметить планы на будущее. Замыслы были обширные: в ноябре — декабре должен был состояться очередной Пленум ЦК, на котором ожидали принятия важных решений. Одним из центральных вопросов было положение в сельском хозяйстве. За истекшее десятилетие производство сельскохозяйственных продуктов возросло, но эффективность была далека от тех образцов, к уровню которых стремился отец. Закупленные за границей комплексные фермы не обеспечивали в наших условиях выхода продукции, обещанного фирмами.

Другой, не менее важной проблемой была кадровая политика. Президиум ЦК КПСС старел — возраст большинства его членов приближался к шестидесяти, а сам отец только что отпраздновал семидесятилетие. Все чаще и чаще он возвращался к мысли: а кто же придет на смену, в чьи руки передать управление страной и партией? Умер Сталин, и пути разошлись, начались споры, разногласия. Кончилось все открытой схваткой. Подобного до-

ми в Новгороде, как редкие дневники людей XVIII или начала XIX столетия, сегодня как никогда ранее необходимо восстанавливать страницы нашего прошлого, используя свидетельства очевидцев и участников событий.

Конечно, нельзя забывать об их субъективном подходе — в большей или меньшей мере они неизбежно ограничены собственным пониманием или видением (я не говорю уже о сознательном отклонении от принципа «только правда; вся правда; ничего, кроме правды»). Каждый читатель вправе и даже должен сопоставлять, изучать, сам делать анализ прочитанного и приходить к собственным выводам. Сейчас страницы газет и журналов полны материалами на темы нашей недавней истории, поэтому работа такая будет нелегкой.

И тем не менее она необходима. Увы, нередко домыслы, слухи и предположения заменяют авторам точное знание фактов. А некоторые с удивительной легкостью преподносят их читателю в качестве фактов, дополдинно им известных. Чего стоит, например, сообщение, что Н. С. Хрущев, вылетев из Пицунды в Москву в октябре 1964 г., просил якобы пилота совершить посадку в Киеве?

Предлагаемые вниманию читателя дневники Сергея Никитича Хрущева написаны во второй половине 60-х годов. В этом, кстати, их особая ценность. Ведь мемуары, написанные сегодня, неизбежно носили бы отпечаток нынешнего состояния общественной мысли. Дневники эти писались, что называется, в письменный стол: они никак не могли быть рассчитаны на публикацию. В те времена вообще вспоминать в печати можно было только то, что шло в одном русле со взглядами М. А. Суслова относительно дозировки правды, умолчания и прямого вымысла в скудном рационе питания нашей исторической науки и читательского интереса. Читатель может не сомневаться в личной честности и искренности автора дневников, что, естественно, не снимает необходимости учитывать субъективное видение, о котором говорилось выше. Сообщаемые факты, на мой, опять же субъективный, взгляд, не подлежат сомнению. Их истолкование — дело каждого, кто прочтет этот материал, приобретающий значение исторического источника. Именно фактами он, собственно, и ценен.

Могу себе представить, как нелегко было С. Н. Хрущеву передать для публикации этот почти детективный рассказ об одном из моментов нашей недавней истории, ставшим в большой мере поворотным. Перед читателем предстанут в том числе и мелкие люди, мелкие страстишки, повлиявшие на ход преобразований, которые могли бы стать необратимыми.

Волею случая оказаться в центре событий, сыграть в них какую-то, пусть посредническую роль, с изумлением убедиться в наивности тех, кто проявил мудрость и высокую гражданственность в важнейших политических вопросах, лицезреть победу интриги над идеалами (и в то же время понимать ошибки, обусловившие такую победу) — все это не могло не побудить думающего человека взяться за перо.

Автор, доктор технических наук, инженер по электронике и системам управления, не претендует на обобщения, на выводы о «системах управления» обществом. Это задача не одного человека и не одного года. Обилие материалов, максимальная добросовестность автора, тщательное их сопоставление читателями, спокойный анализ на основе историзма и понимание тогдашних условий — вместо кавалерийского наскока, сенсационности, верхоглядства, претензий на всезнание, а также сегодняшней смелости, обращенной в страшное или странное прошлое... Только так, позволю себе повторить, наше общество познает самое себя.

Серго Анастасович МИКОЯН,
доктор исторических наук

пускать нельзя, считал отец, выход один — законодательно установить сменность руководства и гласность. Если каждый член Президиума будет знать, что ему отводится, скажем, два срока по четыре года между съездами партии, он будет больше думать о деле, смелее действовать, меньше оглядываться по сторонам. Да и подрастающее поколение в ЦК, в обкомах будет видеть для себя перспективу.

XXII съезд партии уже принял решение о сменности партийного руководства, но это только первый шаг. Нужно идти дальше, затвердить эти же принципы в новой Конституции. Давно принято решение о подготовке ее новой редакции, создана комиссия, а взяться за это дело отцу все некогда, постоянно отвлекают сиюминутные, требующие немедленного решения дела.

Самое подходящее время для работы над новой Конституцией — отпуск. Там, на мысе Пицунда, меньше будут отвлекать «пожарными» вопросами. Конечно, телефон не выключишь и присылаемые бумаги отнимают время, но разве можно это сравнить с московской суетой. Да и думается там, под соснами, лучше.

Я слышал о планах отца. На Пленуме для начала собирались расширить состав Президиума ЦК. За последние годы выросла молодежь — Шелепин, Андропов, Ильичев, Поляков, Сатюков, Харламов, Аджубей. Очень инициативные товарищи. Они живо откликаются на все новые предложения, на лету улавливают мысль, развивают ее, сразу же вываливают ворох предложений. С ними интереснее, живее идет работа. По существу, в решении многих партийных и государственных дел они играют не меньшую роль, чем члены Президиума, и целесообразно оформить сложившееся положение — обновить Президиум ЦК. К тому же это молодежь — она и придет на смену. Но все это следовало еще и еще раз обдумать.

К сожалению, в отпуск удастся поехать не раньше октября. С весны откладывается смотр новой ракетной техники, а Малиновский нажимает — нужно было принять решение о постановке на вооружение новых межконтинентальных ракет. Смотр новых видов ракетного оружия на одном из полигонов после многократных переносов был окончательно назначен на сентябрь.

Вместе с отцом должны были поехать члены правительства, отвечающие за оборонную промышленность: Брежнев, Кириленко, Устинов. На полигоне их ожидали министры, командующие военными округами, конструкторы.

К сентябрю вся подготовка была закончена, утрясались последние детали — кто будет сопровождать высокое начальство. А поскольку количество желающих во много раз превышало число мест, списки придирчиво проверяли в ЦК, и заведующий отделом оборонной промышленности Иван Дмитриевич Сербин безжалостно вычеркивал лишние фамилии.

Мне очень хотелось попасть в число счастливчиков, ведь на всех прежних смотрах я был среди демонстраторов новой военной техники. Недавно завершилась разработка новой межконтинентальной ракеты. Сейчас решалась ее судьба. Будут выслушаны мнения сторонников и противников и принято окончательное решение о запуске в серию.

К своей радости, я остался в списках. Началась предотъездная суета. Однако судьбе было угодно распорядиться иначе. За несколько дней до отъезда у меня разболелась нога. Я поначалу не придал значения такому пустяку. Но через пару дней я уже ходил с трудом. Пришлось обратиться к медицине.

— Ни о какой командировке не может быть и речи,— замахал руками врач,— мы должны положить вас в больницу.

После недолгих препирательств вопрос о больнице отпал, решили, что лечить меня будут дома. Но я уже и сам понимал, что в таком виде на полигоне мне делать нечего.

Мои коллеги улетели, пожелав мне скорого выздоровления, а через пару дней вслед за ними отправился и отец.

Я лежал в постели, читал книги и с грустью смотрел в окно — стояла ясная солнечная осень. Изредка звонил телефон, и я кое-как ковылял к нему.

Так прошло несколько дней. Известий с полигона не было, да и не могло быть — все находились там.

Чувствовал я себя все лучше и через несколько дней намеревался выйти на работу.

В доме на Ленинских горах я с семьей занимал на первом этаже две комнаты с ванной, они представляли как бы отдельную квартиру, дверь которой выходила в коридор. Напротив располагалась обширная столовая. Вся семья редко собиралась за столом вместе. Каждый был занят собственными делами и ел в удобное для него время. Только вечером, когда отец возвращался с работы, все собирались на короткое время вместе, пили чай, рассказывали новости. Затем отец брал бумаги, пересаживался на свободное от посуды место и начинал читать. Семейное чаепитие заканчивалось, начиналась вечерняя работа. Все потихоньку, чтобы не мешать, расходились по своим комнатам или молча усаживались здесь же на диване и в креслах с газетами или книгами.

У меня были отдельный городской телефон и местный телефон связи с дежурным начальником охраны особняка. Телефоны, которыми пользовался отец, располагались на специальном столике в углу комнаты по соседству со столовой. Там стояли аппараты городской и междугородной правительственной связи, а также городской телефон и прямой телефон в дежурную комнату охраны. Звонил отец по ним редко, только в неотложных случаях, считая, что рабочее время кончилось и надо дать людям отдохнуть, а не загружать их делами, которые можно выполнить в течение рабочего дня. Он очень не любил, когда не соблюдался принятый распорядок рабочего дня и кто-либо засиживался на работе допоздна. Это ему напоминало ночные бдения в сталинские времена.

— То, что вы задерживаетесь по вечерам, говорит не о рвении, а о вашем неумении как следует организоваться,— часто повторял он.— Рабочий день кончается в семь часов. После семи сходите в театр, погуляйте, а не просиживайте штаны в кабинете. Иначе назавтра вы не сможете полноценно работать.

Зная это, домой к нам звонили по делу чрезвычайно редко, только в экстренных случаях. Каждый звонок телефона правительственной связи в нашем доме был маленьким событием, и все присутствующие прислушивались к разговору, стараясь из отрывочных фраз понять, что же случилось.

Поэтому, когда однажды вечером во время моей болезни зазвонила «вертушка», я удивился: ведь отца нет в Москве, и это все знают.

В трубке раздался незнакомый голос:

— Можно попросить к телефону Никиту Сергеевича?..

— Его нет в Москве,— ответил я, недоумевая, кто же это звонит на квартиру. Тот, кто может звонить по этому телефону, прекрасно знает, где сейчас находится отец.

— А кто со мной говорит? — последовал вопрос.

В голосе чувствовалось разочарование.

— Это его сын.

— Здравствуйте, Сергей Никитич,— заторопился мой собеседник,— с вами говорит Голюков Василий Иванович, бывший начальник охраны Николая Григорьевича Игнатова *. Я с лета пытаюсь дозвониться до Никиты Сергеевича, мне надо ему сообщить очень важную информацию, и никак мне это не удается. Наконец, я добрался до «вертушки», решился к нему позвонить домой, и опять неудача.

Я очень удивился: о чем может говорить бывший начальник охраны Игнатова с Хрущевым, что у них может быть общего? Ситуация была необычной.

— Выслушайте меня,— заторопился Голюков, опасаясь, и не без оснований, что я положу трубку,— мне стало известно, что против Никиты Сергеевича готовится заговор! Об этом я хотел сообщить ему лично. Это очень важно. О заговоре мне стало известно из разговоров Игнатова. В него вовлечен широкий круг людей.

«Час от часу не легче,— подумал я.— Это, наверное, сумасшедший. Какой может быть заговор в наше время? Чушь какая-то!..»

— Василий Иванович, вам надо обратиться в КГБ к Семичастному. Подобные дела в их компетенции, тем более что вы сами работаете там. Они во всем разберутся, если будет надо, доложат Никите Сергеевичу,— сказал я,

*** Н. Г. Игнатов — в то время Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР, бывший член Президиума ЦК КПСС.**

ОЗНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Невольно и я глянул в зеркало, но ничего подозрительного не заметил. Как обычно, по Кутузовскому проспекту несся поток машин.

— Что ж, за город, так за город. Поехали на окружную, а там что-нибудь придумаем.

Молчим. Вот путепровод через окружную дорогу. Сворачиваем направо, проезжаем под мостом, и уже мелькают по обе стороны подмосковные леса. На ум приходили головокружительные эпизоды из детективов. Никогда бы не подумал, что самому придется участвовать в чем-то подобном. Слева проплыла обширная автомобильная стоянка, где пристроились несколько легковушек и большой грузовик с плечевым прицепом — видно, водитель решил тут заночевать. Переглянулись с Василием Ивановичем — нет, тут слишком людно, нам нужно уединение. Двинулись дальше. Прошло уже около получаса, скоро будет Внуковское шоссе.

Справа показался проселок, ведущий в молодой сосняк. Свернули на него. За поворотом появилась большая поляна.

Уже начинало смеркаться, а низкие тучи придавали окружающему безобидно-мирному пейзажу некую таинственность.

Наконец я остановил машину. Мы вышли на траву и двинулись по тропке. Тропка узкая, идти рядом было неудобно — ноги то и дело попадали в заросшие еще зеленой травой ямки.

Голюков начал разговор. Вот что он рассказал мне.

— В бытность Николая Григорьевича Игнатова членом Президиума ЦК я состоял при нем, занимая должность начальника охраны. Вы меня, наверное, не запомнили, а я вас хорошо знаю. Бывал с «хозяином» на даче у Никиты Сергеевича и вас там видел.

Вообще-то с Игнатовым жизнь меня столкнула давно, я у него начал работать порученцем еще в 1949 году. В 1957 году Николая Григорьевича избрали секретарем ЦК и членом Президиума, а я стал начальником его охраны. Отношения у нас были не чисто служебные, а, я бы сказал, дружеские. Сопровождая его в поездках, я был как бы его компаньоном и собеседником, на мне он «разряжался», говорил подчас то, что не сказал бы никому другому. И я был ему предан.

Когда Николая Григорьевича на XXII съезде КПСС не избрали в Президиум ЦК, мы вместе с ним переживали это, мягко говоря, неприятное событие. Кроме всего прочего, ему теперь не полагался начальник охраны, а я, конечно, привязался к нему за долгие годы.

— Не переживай,— успокаивал меня Игнатов,— я тебя пристрою. Уходи из органов. Свое ты уже отслужил, пенсию заработал. Остались у меня друзья, найдется тебе хорошее место.

Так я в 1961 году вышел на пенсию и начал работать в Комитете заготовок старшим референтом. Потом пришлось мне подыскивать новое место. Позвонил я Николаю Григорьевичу, и он пообещал помочь. Игнатов в то время работал Председателем Президиума Верховного Совета РСФСР, и в скором времени он подыскал мне нехлопотную должность у себя в хозяйственном отделе. Работы там особой не было. Когда Николай Григорьевич ехал отдыхать или в командировку, я обычно сопровождал его. Он любил часть отпуска использовать весной, в Москве еще снег, морозы, а мы едем в Среднюю Азию, там уже настоящее лето. Местные руководители принимали нас по старой памяти по высшему разряду, а это Игнатову очень льстило. Бывало, толкнет меня в бок:

— Смотри, Вася, как меня ценят... Если не в Среднюю Азию, то на Кавказ махнем — там ему тоже очень нравилось.



Бывали дни веселые...

радуясь, что нашел выход из создавшегося положения. Однако радоваться было рано.

— К Семичастному я обратиться не могу, он сам активный участник заговора вместе с Шелепиным, Подгорным и другими. Обо всем этом я хотел лично рассказать Никите Сергеевичу. Ему грозит опасность. Теперь, когда вы сказали, что его нет в Москве, я не знаю, что и делать!..

— Позвоните через несколько дней. Он скоро вернется.— Я попытался успокоить его.

— Мне это может не удаться. Просто счастливый случай, что я добрался до «вертушки» и мне удалось остаться в комнате одному. Такое может не повториться, а дело очень важное. Речь идет о безопасности нашего государства,— настаивал голос.— Может быть, вы можете меня выслушать и передать потом наш разговор Никите Сергеевичу?

— Вы знаете, я... немного болен,— мямлил я, пытаясь выиграть время.

Я не знал, что делать. Не хватало мне встрять в подобную историю. Если это сумасшедший, он замучает меня разговорами, беспочвенными подозрениями, звонками. И зачем я подошел...

Ну а если он нормальный? И вдруг в его сообщении есть хотя бы частица правды? Я, выходит, отмахнулся от него ради собственного покоя? Очевидно, все-таки надо с ним встретиться и разобраться, правда это или игра больного воображения. Конечно, отец терпеть не может, когда домашние суются в его государственные дела. Если я вылезу с такими разговорами, мне может здорово нагореть, несмотря на все его хорошее ко мне отношение. Касайся вопрос новых ракет, удобрений или конвертеров, еще куда ни шло. А тут я, получается, должен буду вмешаться в святая святых — взаимоотношения среди высшего руководства партии и государства. Эта область совершенно запретна для посторонних.

А вдруг это правда? Надо решать.

На том конце провода Голюков ждал ответа. Еще секунду поколебавшись, я, наконец, решился:

— Ну, хорошо. Скажите ваш адрес, я заеду сегодня вечером, и вы мне все расскажете.

— Нет, нет! Ко мне нельзя. У меня разговаривать опасно. Давайте поговорим где-нибудь на улице. Вы знаете дом ЦК на Кутузовском проспекте? Это дом, где живет ваша сестра Юля. Скажите, как выглядит ваша машина, я буду ждать на углу.

— У меня машина черного цвета, номер 02-32. Ждите, я буду через полчаса,— сказал я.

Мы попрощались.

Обеспокоенный, я пошел переодеваться, на ходу убеждая себя, что весь этот разговор — плод больного воображения и мне по возвращении только придется пожалеть о потере нескольких часов. Но на душе было неспокойно...

Быстро переодевшись, я пошел к расположенному у ворот гаражу, где стояла машина.

Дежурный офицер привычно распахнул высокие выкрашенные зеленой краской железные ворота, отделявшие двор от улицы. Все было как обычно. Необычна была только сама поездка, ее цель. Ехать предстояло недалеко, от силы минут пятнадцать, и я стал внутренне собираться, готовясь к разговору.

В то время я не знал, что информация о назревающих событиях еще раньше дошла до моей сестры. Рады. Летом 1964 года ей позвонила какая-то женщина. Фамилии ее она не запомнила. Эта женщина настойчиво добивалась встречи с сестрой, заявляя, что она обладает какими-то важными сведениями. Рада от встречи всячески уклонялась, и тогда, отчаявшись, женщина сказала по телефону, что ей известна квартира, где собираются заговорщики и обсуждают планы устранения Хрущева.

— А почему вы обращаетесь ко мне? Такими делами занимается КГБ. Вот туда и звоните,— ответила Рада.

— Как я могу туда звонить, если председатель КГБ Семичастный сам участвует в этих собраниях! Именно об этом я и хотела с вами поговорить. Это настоящий заговор.

Семичастный в те времена дружил с Алексеем Аджубеем, мужем сестры, часто бывал у них в гостях.

Вся эта информация показалась Раде несерьезной. Она не захотела тратить время на неприятную встречу и ответила, что, к сожалению, ничего сделать не может, она частное лицо, а это дело государственных органов. Поэтому она просит больше ей не звонить.

Новых звонков не последовало...

Поступала такая информация и в ЦК. Об этом через много лет рассказывал бывший начальник охраны Никиты Сергеевича полковник Литовченко. Она поступала к первому помощнику Г. Т. Шуйскому, который ее предусмотрительно «топил».

К тому времени Шуйский проработал с Хрущевым уже около тридцати лет, почти со Сталинграда, но, видимо, в тот момент решил сменить ориентацию...

Я ехал по Бережковской набережной Москвы-реки. Небо было закрыто тучами. Временами срывались отдельные капли дождя. Начинались сумерки.

Вот и поворот у гостиницы «Украина». Через несколько минут стал виден большой, облицованный кремовыми плитками дом ЦК. На углу маячила одинокая мужская фигура в темном пальто и глубоко надвинутой шляпе.

Я остановил машину.

— Вы Василий Иванович Голюков?

Человек кивнул в ответ и оглянулся. На вид ему было лет пятьдесят.

— Я — Хрущев. Садитесь.

Он осторожно сел на переднее сиденье рядом со мной. Я тронул машину.

— Что же вы хотели рассказать? Я вас слушаю.

Мой пассажир нервничал. Несколько раз он оглянулся, внимательно посмотрел в заднее стекло и нерешительно предложил:

— Давайте поедем куда-нибудь за город. В лесок. Там спокойнее.

Сопровождал я его в поездках на отдых и летом, обычно в августе. На мне лежали заботы об обеспечении комфорта. Николай Григорьевич придавал большое значение тому, где, как и с кем он будет жить. Ему хотелось, чтобы условия не отличались от тех, к которым он успел привыкнуть, отдыхая в качестве секретаря ЦК на госдачах.

Так было и в этом году. Вызвал он меня к себе в кабинет третьего августа. Захожу, вижу, сидит он за столом довольный, вид у него хороший, как после отдыха.

Сказал мне, что решил восьмого ехать отдыхать на Кавказ, и, как бы сомневаясь, спрашивает:

— Может, и тебе поехать со мной?

О том, что он собирается на отдых, я уже знал, он заранее мне поручил все подготовить.

На предложение ехать отдыхать вместе я ничего не ответил, решать ему. Поэтому я только доложил, что для отдыха все подготовлено, что я договорился с директором санатория «Россия» в Сочи об отдельной даче. Обычно мы там останавливались.

На этот раз Николай Григорьевич вдруг вспылил:

— Переговорил, договорился... Что ты там можешь сделать своими разговорами?

Я ничего не понял:

— Может, мне тогда с вами не ехать?

— Там видно будет,— проворчал Игнатов.— Можешь идти.

На этом разговор окончился, мы распрощались суше, чем обычно, и я ушел, не понимая, чем вызвана такая реакция. Вины за мной нет — все сделано, как обычно.

Прошло несколько дней, Николай Григорьевич молчит. «За что ж это,— думаю,— он на меня обиделся?»

Шестого августа мне позвонил начальник секретариата Игнатова и передал указание позвонить Николаю Григорьевичу.

Седьмого утром я ему позвонил, и он как ни в чем не бывало говорит:

— Ты готов? Завтра вылетаем в Сочи.

Такие отъезды для меня были привычными. Я быстро собрал вещи и восьмого утром позвонил на квартиру Игнатову. Он живет в том же доме, что и я.

Забрал я его чемоданы, и вдвоем на игнатовской «Чайке» поехали во Внуково. В тот же день мы были в Сочи.

Расположились на отведенной нам даче — она стояла несколько на отшибе в саду, поодаль от основных корпусов. После обеда отправились гулять по территории санатория. Николай Григорьевич был в хорошем расположении духа, шутил. Дача ему понравилась.

— Вполне ничего дачка, на уровне,— обратился он ко мне и, следуя каким-то своим мыслям, добавил:

— Вообще-то Брежнев и Подгорный перед отъездом предлагали мне поселиться на четвертой госдаче.

— Так что, сказать, что мы займем эту дачу? — спросил я.— А они сказали Никите Сергеевичу? Ведь эти дачи вроде только для членов Президиума. Вдруг он узнает, и будут неприятности?

Игнатов ничего не ответил, и мы молча пошли по дорожке. Николай Григорьевич повернул обратно, а я следовал за ним на полшага позади.

Как бы в раздумье Игнатов бросил мне:

— Всему свое время. А Хруща они не слушаются.

Ругал он Никиту Сергеевича часто, особенно в последнее время, после вывода из состава Президиума, но бывало это после крепкой выпивки и по поводу каких-то конкретных решений. Игнатов считал, что на месте Никиты Сергеевича он все сделал бы иначе. Однако что бы он ни говорил о Хрущеве, чувствовалось, что он его побаивается. А тут явно намекает, что с Хрущевым можно вообще не считаться,— это была новая нотка.

— Надо решить вопросы с продуктами и катером. Какие будут указания? Вы мне в Москве ничего не говорили,— уходя от этой темы, спросил я.

— Все в порядке. Я уже договорился с Семичастным и о катере, и о продуктах, и о подключении «ВЧ» к нашей даче. Спроси у дежурного: они получили распоряжение,— хохотнул Игнатов, глядя на мое вытянувшееся от удивления лицо.

Раньше у Игнатова с Семичастным не было никаких отношений. Более того, Игнатов терпеть его не мог, ругал за всякую оплошность, хотя в то же время боялся Семичастного, зная его хорошие отношения с Хрущевым, а особенно дружбу с Аджубеем. О том, чтобы обратиться с просьбой к Семичастному, раньше не могло быть и речи.

«Что же произошло?» — недоумевал я. Позвонил дежурному по санаторию и дежурному по КГБ — оба ответили, что все распоряжения о снабжении продуктами и катере получены.

Я доложил Игнатову.

Он был очень доволен.

— Есть же такие хорошие люди — Шелепин и Семичастный. Они мне ни в чем не откажут.

Такая перемена в отношениях между этими людьми тоже была непонятна. Почему плохо скрываемая вражда сменилась такой сердечностью? Тут явно что-то было не так... Потом Игнатов попросил меня узнать, кто еще из членов ЦК отдыхал поблизости.

Из дачи я позвонил секретарю Сочинского горкома партии, сказал ему, что Николай Григорьевич Игнатов отдыхает в санатории «Россия» и интересуется, кто из товарищей отдыхает в Сочи. Такой вопрос был обычным: каждый вновь прибывший в первую очередь интересовался соседями.

Секретарь горкома всегда был в курсе дела. Он тут же ответил мне, что в соседних санаториях отдыхает несколько первых секретарей обкомов, в частности Камчатского, Белгородского и Волынского. Фамилия последнего, кажется, Калита. Я все доложил Игнатову.

— Спасибо, а звонить в горком больше не надо. Сами разберемся,— ответил он.

Прошло несколько дней. Игнатов никем больше не интересовался. Каждый занимался своими делами. Я старался ему особенно глаза не мозолить.

Вдруг мне передают, что он срочно меня разыскивает. Через несколько минут я был у Игнатова.

— Знаешь, мне показалось, что я видел секретаря Чечено-Ингушского обкома Титова. Правда, он был далеко, и я мог обознаться. Позвони в регистратуру санатория, узнай, он это или нет. Если спросят, кто говорит, скажи, звонят из обкома.

Оказалось, что Титов действительно отдыхает рядом в «люксе». Я позвонил к нему в номер, но мне ответили, что он вышел. Я попросил передать, что звонили от Игнатова, который отдыхает здесь на даче и просит товарища Титова позвонить ему.

На следующий день Игнатов довольным голосом сообщил мне, что Титов звонил и он пригласил его в гости.

— Ты организуй все,— сказал он.

Организация застолья была одной из моих обязанностей во время нашего совместного отдыха. Собрались гости. Стол накрыли на веранде. Коньяк, осетрина, икра, шашлык — все как обычно.

Кроме Титова, пришел Чмутов — председатель Волгоградского облисполкома и еще несколько человек, кто, я сейчас и не припомню. Меня тоже пригласили за стол.

В перерывах между тостами Игнатов много вспоминал о своей работе в Ленинграде. Чмутов и другие рассказывали анекдоты о Хрущеве. Все громко смеялись. Ничего подозрительного в этой встрече не было — собрались, выпили, поболтали и разошлись.

Игнатов остался доволен встречей. Несколько раз во время прогулок он возвращался к разговору о Титове.

— Очень хороший человек Титов, нужный нам, стоящий,— говорил Игнатов.

Август близился к концу.

Двадцать девятого Игнатову вдруг позвонил Брежнев. Я присутствовал при этом разговоре.

Брежнев сказал, что раз Игнатов отдыхает в Сочи, то он его просит на пару дней съездить в Краснодар для участия в торжествах по случаю награждения объединения «Краснодарнефтегаз» Северо-Кавказского совнархоза орденом.

Игнатов с готовностью согласился.

— Заодно прощупаю Георгия,— пообещал он. (Георгий — это секретарь Краснодарского сельского крайкома партии Воробьев, давний знакомый Игнатова).— Леня, у меня были Титов с Чмутовым. Выпили немного, языки поразвязались. Их слова говорят сами за себя. Они отражают общее настроение. Однако меня беспокоит Грузия. Числа десятого сентября вернусь из отпуска и думаю съездить в Тбилиси. Надо там поработать.

— А что тебя в Грузии беспокоит?

— Прочитал я в газетах письмо какой-то стодвадцатилетней колхозницы в адрес Никиты Сергеевича. Это неспроста. Видно, они там не понимают ситуации.

— Только-то. Пусть это тебя не беспокоит,— успокоил его Брежнев.

— Так это твоя работа? Тогда другое дело,— обрадовался Игнатов.— Есть еще кое-что. Говорил с Заробяном * из Армении, он настроен хорошо. Наш человек. Леня, но об одном я тебя прошу, все надо сделать до ноября.

Они еще немного поговорили о погоде, об охотничьих успехах Леонида Ильича, и Игнатов положил трубку. Он радостно улыбался: было видно, что разговор ему по душе.

— Я забыл сказать,— спохватил-

Друзья и соратники. Апрель 1964 года, 70-летие Никиты Сергеевича.

* Заробян — первый секретарь ЦК Компартии Армении в период Н. С. Хрущева.

ся Голюков,— сразу по приезде в санаторий Николай Григорьевич предупредил меня, что во время отпуска собирается съездить в Грузию, Армению, Орджоникидзе и еще куда-то.

— Скучно сидеть на одном месте,— пояснил он.

Однако поездка все откладывалась.

— Подожди, не время,— отмахивался он, когда я напоминал, что надо побеспокоиться о билетах.

В Краснодар мы выехали тридцатого августа, на следующий день после разговора с Брежневым. Остановились в крайкомовском особняке. Вечером того же дня приехали гости — Байбаков, Качанов, Чуркин и другие руководители.

Сели ужинать. За ужином разговор крутился вокруг завтрашнего митинга по случаю награждения. Подробно обсуждали процедуру. Наконец, все разъехались. Ужином Игнатов остался недоволен. Видимо, настроение ему испортило отсутствие Воробьева, он так и не приехал.

— Гордится. Не едет...— бурчал он.

— Что ж тут такого особенного? Конец августа, самая уборка, а у них туго с планом по хлебу. Наверное, носится по районам,— попытался я успокоить Игнатова, но он только махнул рукой.

Тридцать первого августа состоялся митинг, на котором Николай Григорьевич, как Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР, вручил орден. Как обычно после митинга был большой банкет для местного партийного и советского актива. Оттуда мы вернулись в особняк. С нами в машине ехали Качанов и Чуркин. Они проводили Николая Григорьевича до дверей, распрощались и уехали.

Вскоре подъехал Трубилин — председатель крайисполкома. Они с Игнатовым стали дожидаться Воробьева, который провожал уезжавшего в тот же день секретаря Саратовского обкома Шибаева. Часам к одиннадцати вечера приехал Воробьев. Посидели они втроем в доме несколько минут, и Игнатов с Воробьевым вышли в парк, примыкающий к особняку. Трубилина с ними не было, он остался в доме. Я пошел его искать — он сидел в комнате один, расстроенный. Видно, ему тоже хотелось принять участие в разговоре. Вдвоем с ним мы стали дожидаться возвращения Игнатова с Воробьевым. Выпили по рюмочке коньяку. Я затеял разговор об успехах края, награждении, но Трубилин отвечал вяло, видно было, что мысли его там, в парке. Время тянулось медленно. Прошел час, второй. Игнатов с Воробьевым все гуляли. Для Игнатова это было очень необычно: как правило, он ложится спать в одиннадцать часов, и должно было случиться что-то из ряда вон выходящее, чтобы заставить его изменить своим привычкам.

В час ночи Трубилин начал нервничать, несколько раз подходил к двери, ведущей в парк, пытался разглядеть гуляющих. Потом не выдержал и отправился их искать. Вскоре он вернулся, еще более мрачный.

— Все гуляют. Мне завтра работать. Поеду домой спать. С ними я попрощался,— ответил он на мой немой вопрос.

Трубилин вызвал машину и уехал. Я тоже отправился спать, после банкета у меня слипались глаза. Игнатов с Воробьевым продолжали кружить по дорожкам парка.

О чем они говорили, я не знаю. На следующее утро Воробьев приехал опять. Мы только встали. С ним был новый гость — Миронов из Ростова. Чуть позже приехал Байбаков. Все вместе сели завтракать. После завтрака Байбаков заторопился по делам и уехал, а остальные пошли гулять в парк. Завязался оживленный разговор. Мне было видно, как Игнатов что-то доказывает, а остальные молча слушают.

Далеко они отойти не успели — дежурный доложил, что по «ВЧ» звонит Брежнев и просит к телефону Игнатова. Вместе с Николаем Григорьевичем в комнату зашли Воробьев и только что подъехавший Качанов.

Я остался за дверью, но через нее разговор был отчетливо слышен. Говорили о награждении.

Сначала слышался голос Игнатова:

— Спасибо, Леня, все прошло хорошо. Спасибо за помощь, без тебя бы пришлось туго.

Дело в том, что Брежнев помог оформить выделение денег на банкет, ведь сейчас проведение банкетов за государственный счет запрещено, и запрет этот строго контролируется. Только Брежнев, как второй секретарь ЦК, мог дать такое разрешение.

— У меня здесь Воробьев,— продолжал Игнатов, обращаясь к Брежневу,— мы с ним обо всем переговорили. Говорил я еще и с саратовским секретарем Шибаевым. Сначала не понимали друг друга, но потом нашли общий язык, так что с ним тоже все в порядке, я его обработал.

Они попрощались, пожелали друг другу успехов, и трубку взял Воробьев. Сперва поговорили о награждении, Воробьев поблагодарил Брежнева за высокую оценку их труда, пообещал еще настойчивее добиваться новых успехов. За ним трубку взял Качанов и говорил о том же самом.

После разговора все, оживленные, вышли на крыльцо и стали обсуждать, что делать дальше. Решили сначала заехать в крайком, а оттуда в Приморско-Ахтарский район на рыбалку.

Воробьев по дороге от нас отделился, остался в крайкоме, а с нами поехали Качанов и Чуркин. Все было подготовлено на высоком уровне. На месте уже дожидался накрытый стол, на костре булькала уха. Первым делом выпили и закусили. Все это заняло несколько часов. За столом наперебой рассказывались рыбацкие и охотничьи истории одна другой невероятней, а былые уловы увеличивались с каждым тостом.

После короткого отдыха отправились на вечернюю зорьку — кто с ружьем за утками, кто со спиннингом.

На следующий день повторилось то же самое, и в Краснодар мы вернулись только под вечер второго сентября.

В особняке дожидался Воробьев. Поговорив с Игнатовым, быстро собрался и куда-то уехал. К ужину он возвратился, а после ужина повторилась старая история — опять они вдвоем гуляли до часу ночи, что-то обсуждая.

На следующий день мы собрались уезжать. Провожали нас Воробьев, Качанов, Чуркин, Трубилин. Прощаясь, Николай Григорьевич пригласил всех в Сочи в ближайшую субботу, шестого сентября, к себе на обед. При этом специально подчеркнул, чтобы приезжали без жен.

Шестого сентября у нас собралось человек двадцать. Были Байбаков, министр культуры РСФСР Попов, приглашенные краснодарцы и другие, Качанов и Трубилин опоздали — задержались в дороге.

Обед затянулся допоздна, было много тостов. Воробьев вспомнил о Ленинграде, о том, какую правильную и принципиальную позицию занимал Игнатов, находясь на посту секретаря Ленинградского обкома. Зацепили и Козлова.

В бытность Игнатова секретарем Ленинградского обкома он «прославился» проведением жесткой линии по отношению к интеллигенции. Тогда много говорили о его грубости и невыдержанности. В ЦК была направлена коллективная жалоба, подписанная многими деятелями литературы и искусства. В результате Игнатов был освобожден от работы и направлен первым секретарем обкома в Воронеж — там-де люди попроще и с работой справиться легче.

Часов в десять вечера обед подошел к концу. Наиболее стойкие остались допивать и доедать, а остальные разбрелись кто куда. Игнатов, оставшись один, позвал меня и приказал соединить его по «ВЧ» с дачей Подгорного в Ялте.

Пока подзывали к аппарату Николая Викторовича, он зажал рукой микрофон и попросил:

— Давай сюда быстренько Георгия, только так, чтобы другие не увязались.

Я пригласил в кабинет Воробьева. Там уже находился Титов.

Пока я ходил за Воробьевым, Подгорный на том конце провода уже взял трубку. О чем был разговор, не знаю. По-видимому, Подгорный пожелал Игнатову успехов. В ответ Николай Григорьевич многозначительно произнес:

— Главный успех не от нас, а от тебя зависит.

Тут он обратил внимание, что я остался в кабинете, и кивнул мне — можешь быть свободен.

Чтобы не мешать разговору, я потихоньку вышел и закрыл дверь.

Все происходившее в последние дни — шушуканье допоздна, недомолвки, намеки,— все это возбуждало любопытство и настораживало меня. Вот и сейчас выставили. Через дверь разобрать слова было невозможно, да и не хотелось мне оказаться в роли подслушивающего. «В конце концов эти дела меня не касаются»,— решил я и, потоптавшись в коридоре, вышел на крыльцо.

Справа светилось окно кабинета, и сквозь стекло были видны три мужские фигуры, окружившие телефонный аппарат. Я видел, что теперь трубку взял Титов. Голос его слышался довольно хорошо, хотя слова разбирались с трудом.

Мне очень захотелось послушать, о чем же это они говорят с Подгорным, для чего такая конспирация. Обычно Игнатов любил демонстрировать свои близкие отношения с членами Президиума ЦК и громко кричал в трубку: «Здравствуй, Леня!» или «Привет, Коля!»

Только я спустился с крыльца, как заметил приближавшуюся по дорожке фигуру.

— Вася, а где Николай Григорьевич?— окликнул меня незнакомец.

Это был Трубилин. Он не заметил, куда делись Игнатов, Титов и Воробьев, и теперь разыскивал их по парку.

— Вот там все собрались,— показал я Трубилину на освещенное окно кабинета.

Он заторопился в дом, но тут же вернулся.

— Всё прячутся. Они всё знают, а я ничего не знаю...

— О ком это вы?

Трубилин встрепенулся:

— Не буду говорить, ну их. Я и без них всё знаю, ведь все постановления идут через меня...

Бормоча что-то себе под нос, он скрылся в темноте.

Из кабинета вышли Игнатов, Титов и Воробьев. На ходу они вполголоса о чем-то говорили, видимо, обсуждали разговор с Подгорным.

Заметив меня на крыльце, они умолкли и начали прощаться. Краснодарцы остались ночевать на соседней даче, а остальные отправились по домам.

Утром, проводив краснодарцев домой, Николай Григорьевич пригласил меня на прогулку. Разговор крутился вокруг вчерашнего приема.

— Видишь, никто за него и тоста не поднял. Это хорошо!— с удовлетворением произнес Игнатов.

— За кого «за него»? — не понял я.

— За Никиту.

Без видимой связи с предыдущим он добавил:

— Титов — хороший человек.

Это была его обычная оценка окружающих: те, кто согласны с Игнатовым, поддерживают его,— хорошие люди, остальные — нехорошие, разных оттенков.

— Ничего, Вася,— успокоил он меня,— подожди немного. И у тебя впереди есть перспектива. Не волнуйся.

Я не стал уточнять, что он имеет в виду, и разговор перешел на рыбную ловлю.

Больше ничего примечательного в Сочи не произошло. Отпуск подходил к концу, и я еще раз напомнил Николаю Григорьевичу, что он собирался заехать в Армению.

— Не поеду. Заробян был у Брежнева в Москве. Пора домой собираться,— ответил он.

В Москву мы вернулись девятнадцатого сентября.

В понедельник я был у него на даче, занимался устройством различных хозяйственных дел. Игнатов часто использовал меня в качестве секретаря и в этот раз, увидев меня, попросил соединить с Кириленко, отдыхавшим в Новом Афоне. Трубку взял дежурный и, узнав, кто спрашивает, ответил, что Андрей Павлович купается в море и к телефону подойти не может.

Этот естественный ответ, к моему удивлению, привел Игнатова в волнение.

— На самом деле купается или говорить не хочет?— бормотал он, ни к кому не обращаясь.

Нервничая, Николай Григорьевич стал названивать Брежневу в ЦК. Трубку «вертушки» взял секретарь:

— Леонида Ильича нет на работе и сегодня не будет. Он заболел.

Тут Игнатов совсем разнервничался. Шагая из угла в угол, он приговаривал:

— Болеет или не болеет? Что это у него за болезнь? Нужная это болезнь или ненужная?..

Почувствовав себя лишним, я вышел.

Вернулся я в кабинет примерно через час. Игнатов сидел в кожаном кресле и умиротворенно улыбался.

— Ничего. Все в порядке. У него просто грипп. Все нормально,— сказал он.

Я не понял: почему грипп у Брежнева — это хорошо?.. Но этот разговор добавил к списку необычных событий, происходивших в течение последнего месяца.

Если сложить все эти мелочи вместе, получается подозрительная картина. Недомолвки, намеки, беседы один на один с секретарями обкомов, неожиданная дружба с Шелепиным и Семичастным, частые звонки Брежневу, Подгорному, Кириленко... Почему упоминается ноябрь? Что должно быть сделано до ноября?

Голюков стал пересказывать различные эпизоды, характеризующие отношение Игнатова к моему отцу,— одни относились к прошлым годам, другие произошли совсем недавно.

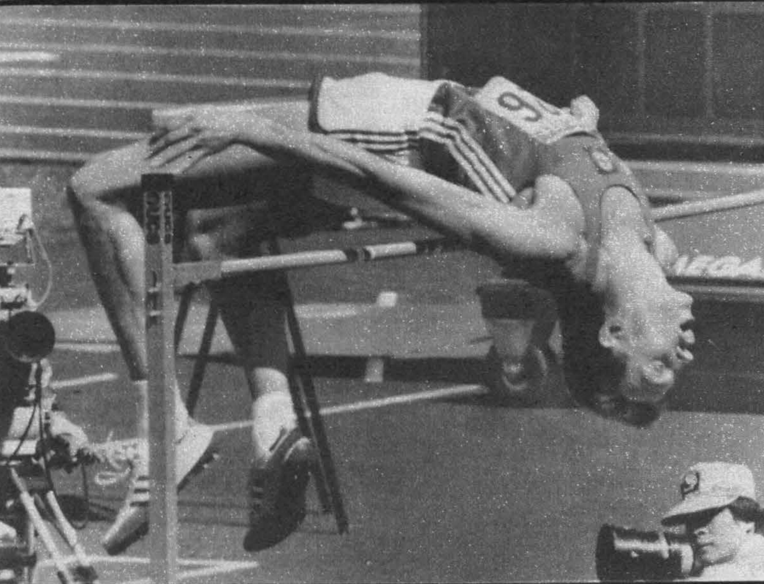
Дурной характер Игнатова был известен всем, не была секретом и его неприязнь к Хрущеву, он не мог смириться с неизбранием в состав Президиума ЦК. И раньше Игнатов после нескольких рюмок любил поговорить в своем кругу о том, что всю работу в ЦК тянет он, остальные бездари и бездельники, а Хрущев только штампует подготовленные им решения и произносит речи.

Надо все не спеша обдумать и решить, что делать дальше. Пороть горячку в таком деле нельзя...

Продолжение следует

ПОБЕДА НА ВСЕХ

НАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ ВАЛЕНТИН ЮМАШЕВ ПЕРЕДАЕТ ИЗ СЕУЛА





Наверное, наступит время, когда журналистов посылать на Олимпиады будет совсем бессмысленно. В принципе и сейчас, дома, сидя у телевизора, вы можете узнавать все результаты, рекорды, имена одновременно с теми, кто находится на трибунах.

Плохо поддается съемке, пожалуй, самая главная победа этой Олимпиады — удивительно теплая, домашняя, искренняя атмосфера, сложившаяся здесь. Я не знаю, почему это происходит. Может быть, из-за доброжелательности и радушия хозяев города или потому, что спортсмены многих стран друг с другом не встречались на Олимпиадах уже двенадцать лет, и вот, наконец, эта встреча произошла, а может быть, потому, что просто надо чаще видеться людям разных стран...

И этой атмосфере вовсе не мешает то, что кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. Иранец обнимается с иракцем, ливанец с израильтянином, у американцев при виде русских сама собой появляется улыбка до ушей. Я везу домой полсумки визитных карточек американцев: фермер, профессор, учитель, бизнесмен и т. д. На трибунах, на улице, видя на моей аккредитационной карточке название страны, американцы — а, как всегда, болельщиков из этой богатой страны больше всех — радостно бросались, чтобы выразить — даже и не знаю что — свою радость, уважение, любовь?.. Это удивительно, столько гадостей написали про нас их журна-





ОЛИМПИАДА — ЭТО ТОРЖЕСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ВОЛИ, ЭТО ПОСТИЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКОМ СЕБЯ, СВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ. И КОГДА СМОТРИШЬ НА ВЫСТУПЛЕНИЯ ОЛИМПИЙЦЕВ, КАЖЕТСЯ, НЕТ НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО...

Фото ТАСС

листы, столько всякого в наших газетах мы читали про них, а вот встречаемся, и оказывается, все старания работников, так сказать, идеологического фронта были напрасны.

На Олимпиаду приехали спортсмены из 160 стран: миниатюрная «модель земного шара». Почти все государства представлены на Олимпиаде, и вот, оказывается, как весело, мирно, по-человечески могут жить земляне!

Почему я так много пишу про политику? Да потому, что спортсмены вот уже две летние Олимпиады подряд были жертвами интриг, никакого отношения к спорту не имеющих. Решая свои частные политзадачи, казавшиеся грандиозными, политики лишили целые поколения спортсменов возможности встретиться друг с другом на Олимпийских играх. И только единицам удалось дождаться этого момента. Хотя слово «дождаться» вряд ли тут точное... Владимир Сальников из этих терпеливых героев. Все-таки он доказал всему миру, что эти восемь лет был самым сильным на марафонской дистанции — 1500 м! Так долго быть первым в плавании, да и вообще в спорте сегодня — это фантастика.





ЭТОТ МАЛЬЧИК УЧИТСЯ СМОТРЕТЬ НА МИР ЧЕРЕЗ ОЛИМПИЙСКИЕ КОЛЬЦА. И МИР ПРЕКРАСЕН. ЭТОТ МАЛЬЧИК ВМЕСТЕ С ОЛИМПИЙЦАМИ ИСПЫТАЕТ И РАДОСТЬ ПОБЕД И ГОРЕЧЬ ПОРАЖЕНИЙ, ОН УВИДИТ ТОРЖЕСТВО СИЛЫ ДУХА, ПОДОБНОЕ ТОМУ, ЧТО ПРОЯВИЛ ТЕПЕРЬ УЖЕ ЧЕТЫРЕХКРАТНЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН ВЛАДИМИР САЛЬНИКОВ, И САМ ЗАХОЧЕТ ИСПЫТАТЬ ЭТО ПРЕКРАСНОЕ ЧУВСТВО; ОН БУДЕТ СОСТРАДАТЬ ПОБЕЖДЕННЫМ И СОШЕДШИМ С ДИСТАНЦИИ И ТИХО ТОРЖЕСТВОВАТЬ ВМЕСТЕ С ТЕМИ, КТО НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО ДОЙДЕТ ДО ФИНИША... ОН УЧИТСЯ ЖИЗНИ, ЭТОТ МАЛЬЧИК, ОН ПОСТИГАЕТ МИР!

Каждая Олимпиада рождает своих героев. Кому-то это место было забронировано заранее, кто-то вознесся на олимпийский небосклон вопреки прогнозам умудренных комментаторов, ну, а есть и те, кому все заранее отдавали первые места, но что-то случилось, что-то сломалось в отточенном и отлаженном механизме победы. И, кстати, драматизм поражений здесь, на Олимпиаде, не менее прекрасен, чем счастливый миг побед. Растерянно бегущий третьим Мозес... Оказавшийся в нокауте американец Бенкс... Наша Шушунова, которая, казалось, не может падать, но она падает на ковре...

На Играх — несколько спортивных премьер. Виды спорта, заслужившие своей популярностью право участия в Олимпийских играх. Настольный теннис, в котором южнокорейцы традиционно сильны, собирает полный зал. Но так же уютно чувствует себя и другой дебютант — большой теннис. «Спорт буржуев». Как и джаз — «музыка толстых». Так, кажется, считали у нас не так давно? Джаз как-то пробился сам. А вот теннису своих сил оказалось мало, он у нас в полном загоне. И Шамиль Тарпищев, старший тренер мужской сборной, ходит по теннисному стадиону грустным. Уже ко второму дню соревнований у нас не осталось ни одного спортсмена, прошедшего первый этап соревнований. Мы договорились с Тарпищевым сделать после Олимпиады для «Огонька» отдельный материал о проблемах нашего тенниса. Этот спорт заслуживает того. Ну, хотя бы потому, что действительно на сегодняшний день это один из самых престижных и коммерческих видов. В пресс-центре распространили данные о доходах теннисистов. Речь идет только о призах с турниров, реклама дает еще больше доходов. Так вот, за год лидеры собрали семизначные цифры, например, Штеффи Граф заработала около миллиона трехсот тысяч долларов. Не побеждающие, но выступающие вполне стабильно теннисисты получили сотни тысяч долларов. Мы с нашим вечным стремлением не давать кому-то зарабатывать много упускаем в развитии массового тенниса: ведь часть заработанных денег можно было бы вкладывать в детский теннис...

Впрочем, это тема особого разговора. Здесь же интересно другое. Как одиночки, так сказать, волки-профессионалы, всюду представляющие только самих себя, мотающиеся с турнира на турнир за призами, на Олимпиаде подчинились совсем другим законам. Здесь они за выступление денег не получают, живут вместе со всеми в Олимпийской деревне, хотя, например, та же Крис Эверт на свои миллионы могла бы купить пару сеульских отелей. Она сказала, что ей давно не приходилось жить с кем-то вместе, но раз так положено, она с удовольствием поживет, как все.

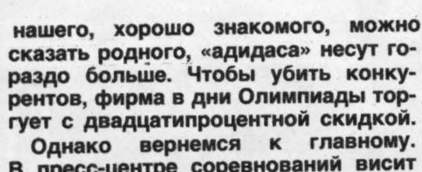
Самое сложное — проблема выбора. На какие соревнования сегодня пойти? Каждое утро я в панике, потому что хочу успеть всюду. Очередной день. Почти в одно и то же время прыжки с шестом: должен будет побеждать Сергей Бубка; 200 метров у мужчин: Карл Льюис горит желанием доказать, что он сильнейший. Ну, в общем, что я говорю, легкая атлетика, понятно, что надо быть там. Баскетбольные полуфиналы!.. И сегодня же!.. Ну, впрочем, и так все ясно, от этого желания успеть всюду можно сойти с ума. Как жаль, что так мало моих соотечественников на трибунах!

Лучше смотреть Олимпиаду дома, у телевизора, думали те начальники, которые решали, сколько наших журналистов и болельщиков поедет в Сеул. Во всяком случае, нас здесь

удивительно мало для такого грандиозного события, каким являются сегодня Олимпийские игры (только компания Эн-Би-Си направила сюда полторы тысячи своих сотрудников, у нас же с трудом наберется и сотня всех журналистов). Но даже с зеленых Бермудских островов болельщиков сюда приехало больше, чем из нашей огромной прекрасной страны. За державу обидно. Почему тысячи советских людей (думаю, не меньше) за свои собственные деньги не могли купить путевку на Олимпийские игры? Это кому вопрос — «Спутнику», «Интуристу» или куда-то повыше?..

Олимпиада — это борьба не только на спортивных аренах. Все крупнейшие мировые фирмы по выпуску спортивных товаров приехали сюда, организовали центры по рекламе и продаже своих изделий. Каждый день вижу, как вечером возвращаются домой в Олимпийскую деревню спортсмены и журналисты с пакетами из магазинов «Адидас», «Найк», «Актив», «Про-спорт» и т. д. При этом нашего, хорошо знакомого, можно сказать родного, "адидаса" несут гораздо больше. Чтобы убить конкурентов, фирма в дни Олимпиады торгует с двадцатипроцентной скидкой.



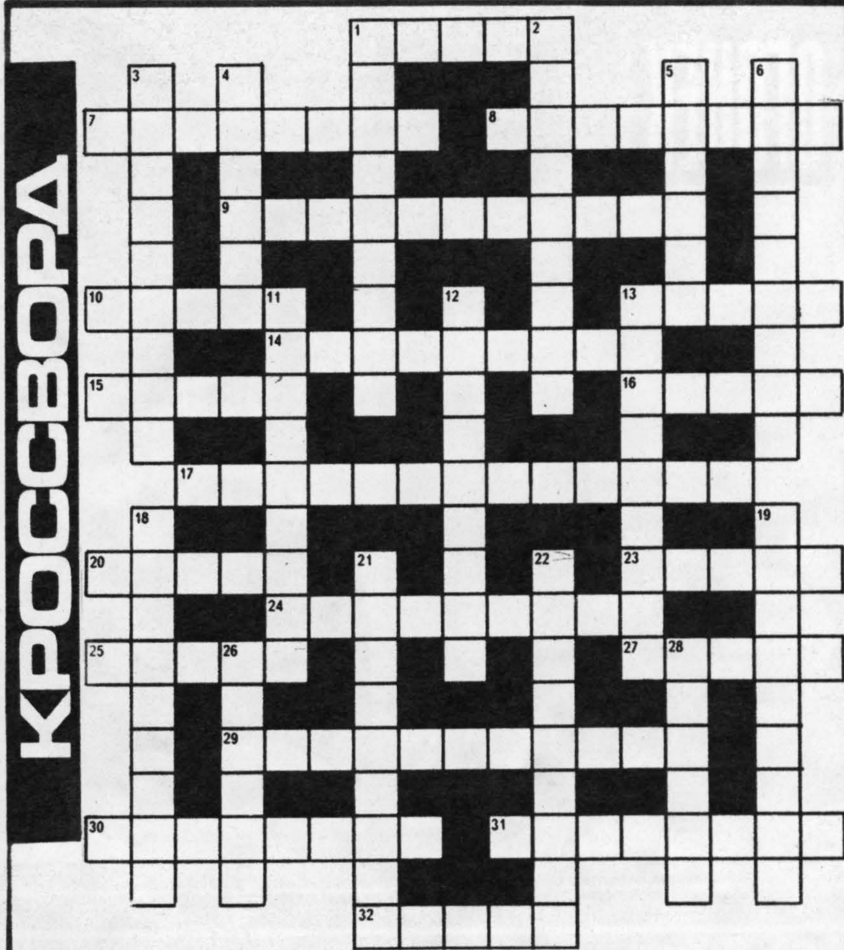


Однако вернемся к главному. В пресс-центре соревнований висит огромное табло. К нему почти что каждый час, а иногда и чаще, подбегают симпатичные южнокорейские ребята, служащие пресс-центра, с протоколами в руках, и на табло появляется: «USSR — 35». Столько золотых медалей получила наша команда на тот момент, когда я передаю эти строки в Москву. Ну, а когда вы будете читать этот материал, мы, я уверен, завоюем еще больше. Написал привычное в таких случаях слово «завоюем», и стало тоскливо. Видите, как въелась в нас эта милитаристская терминология! Я бы, честно говоря, и табло бы это отменил. Ну что и кому говорят эти цифры? Явно ведь не то, что наш спорт — самый лучший. Мы ведь с вами отлично знаем, что наш спорт — массовый, для всех и для каждого — еще поднимать и поднимать.

Так что давайте не будем очаровываться цифрами. Просто порадуемся нашим победам. И победам других.

Олимпиада сделала нас всех чуточку счастливее. И это тоже ее победа. Принадлежащая всем.

Сеул.



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дед, герой одного из ранних рассказов М. Горького. 7. Народная артистка СССР, исполнительница главной роли в фильме «Сельская учительница». 8. Вид водного спорта. 9. Комната в школе для преподавателей. 10. Французский поэт, участник Движения Сопротивления. 13. Вид спортивной борьбы. 14. Живописец, скульптор, изображающий животных. 15. Птица семейства синицевых. 16. Свод правил, регулирующих деятельность организаций, учреждений. 17. Учитель, педагог, воспитатель. 20. Взрослый дикий кабан, морской котик. 23. Машина для буксирования прицепов, артиллерийских орудий. 24. Осадочная горная порода, используемая в строительстве. 25. Денежная единица некоторых государств. 27. Рукав нижнего Дона. 29. Гимнастический снаряд. 30. Пушной зверек. 31. Советская гимнастка, неоднократная чемпионка Олимпийских игр. 32. Стихотворение А. С. Пушкина.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Приспособление организмов к условиям существования. 2. Кит. 3. Советский детский писатель. 4. Словораздел, интонационная пауза в стихе. 5. Бурсак в повести Н. В. Гоголя «Вий». 6. Деталь часов, стрелочных измерительных приборов. 11. Специалист, занятый изысканиями полезных ископаемых. 12. Игрок, участник настольной игры. 13. Учащаяся вуза. 18. Метод тренировки, лечебная ходьба. 19. Советская спортсменка, чемпионка Олимпийских игр 1976 года в беге. 21. Остров в Вест-Индии. 22. Город, нефтепромысловый центр в Бирме. 26. Планета. 28. Город в Чехословакии.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 39

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гостиница. 7. Артишок. 8. Клиника. 9. Ондатра. 11. Триммер. 13. Ниас. 14. Раунд. 16. «Осел». 17. Артоболевский. 20. Амга. 21. Титан. 24. Виза. 25. Елабуга. 27. «Летчики». 29. Кербель. 30. Гандбол. 31. Антоновка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Грива. 2. Токката. 3. Никитин. 4. Арнем. 5. Таможня. 6. Патруль. 10. Диафрагма. 12. Миссисипи. 14. Робот. 15. Диван. 18. Ракетка. 19. Радиола. 22. Идальго. 23. Аллегро. 26. Бубка. 28. Чудра.

НЕТ ПРОБЛЕМ?

Рисунок Алексея МЕРИНОВА





Во время этой телепередачи (время ее выхода в эфир пока не названо) у экрана останутся не только те, кому сказка помогает уснуть. Впервые в рамках американо-советского детского телемоста о своих «проблемах» поговорят наш симпатичный Хрюша из «Спокойной ночи, малыши!» и заокеанский Кэрмит (Лягушонок), рассказывающий по вечерам интересные истории самым маленьким жителям США.

Затеяла «телеигру всерьез» посредническая фирма «Белка интернейшнл» из Нью-Йорка. Были долгие переговоры, кое-кого даже пришлось уговаривать как здесь, так и там. Когда от слов перешли к делу, в Москву приехали сам Кэрмит, мисс Пигги (госпожа Свинка) и другие куклы известного американца Джима Хенсена. Дружная компания уютно расположилась в одной из студий Останкина.

Владимир КОВАЛЕВ

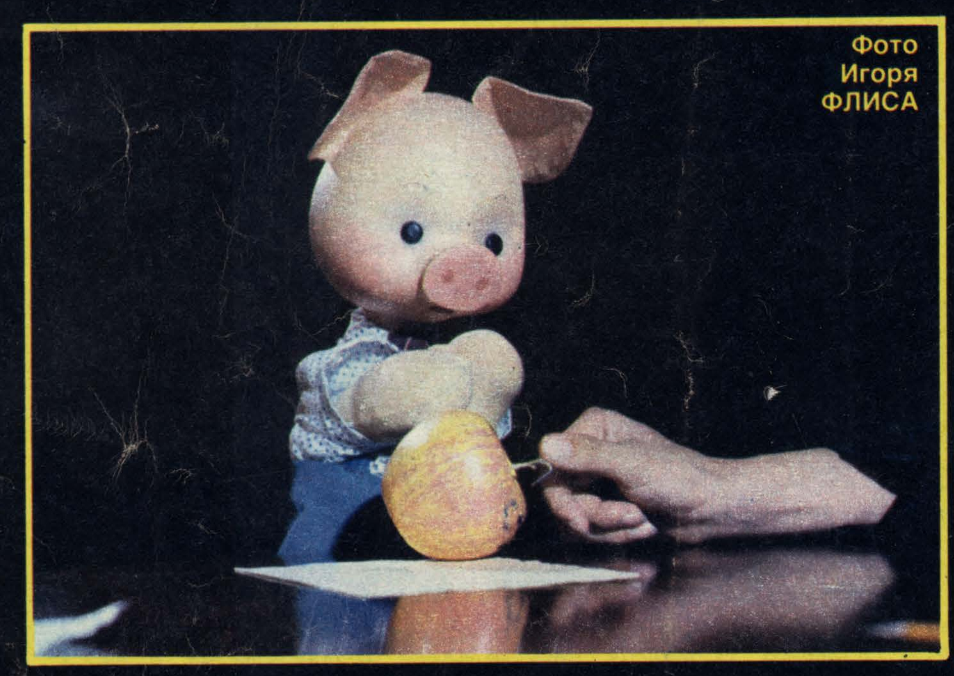
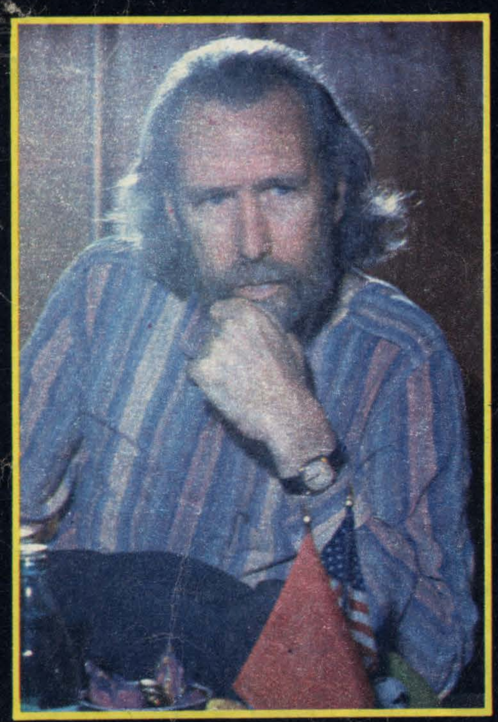
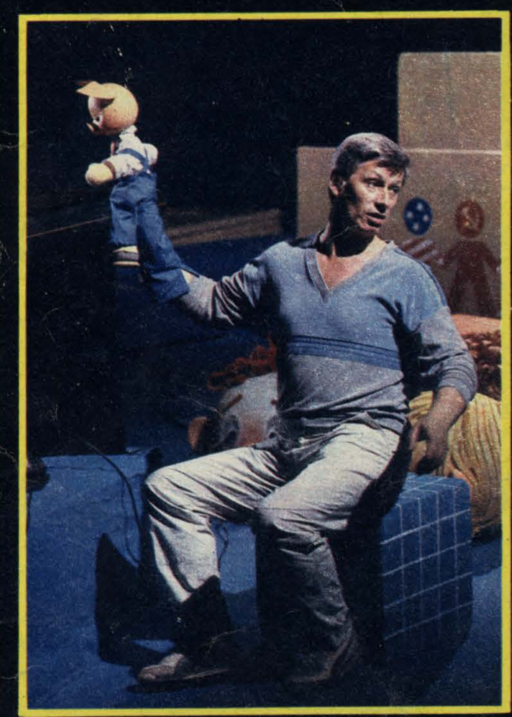


Фото Игоря ФЛИСА









ISSN 0131—0097 Цена номера 40 коп. Индекс 70663